

Российская академия наук
Карельский научный центр
Институт языка, литературы и истории



**МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОГРАНИЧНОГО РЕГИОНА**

Материалы международной научной конференции,
посвященной 75-летию Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН

Петрозаводск
2005

ББК 6/8
УДК 3 + 7/9 (470.22)

Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона: Сборник материалов международной научной конференции. Петрозаводск, 2005. 416 с.

Сборник статей содержит материалы научной конференции, состоявшейся 10–12 октября 2005 г. в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Участникам конференции было предложено рассмотреть пограничье как географическое и историко-культурное пространство, осмыслить феномены границ, контактных зон, ареалов взаимодействия людей и идей в социально-демографическом, национальном, религиозном, этнолингвистическом контексте, а также путем обращения к фольклорной и литературной традиции – результату взаимовлияния прибалтийско-финской и славянской культуры. В конференции приняли участие известные ученые и начинающие исследователи академических и университетских центров, институтов и музеев России, Финляндии, Эстонии.

Составитель О. П. Илюха
Секретарь издания А. Е. Беликова

Материалы печатаются в авторской редакции

*Конференция состоялась при поддержке РГНФ (грант 05-01-14022г),
программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых»,
Государственного комитета по делам национальной политики
Республики Карелия*

Сборник публикуется при поддержке РГНФ (грант 05-01-14022г)

ISBN 5-9274-0188-0

© Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 2005

© А. К. Байбурин
Санкт-Петербург

Несколько замечаний о резистентности, заимствованиях и взаимовлияниях

Исследование контактных зон является сейчас одной из самых популярных тем. В последнее время «пограничной» проблематике было посвящено несколько конференций (Саратов, Харьков), вышло множество работ, среди которых хотелось бы назвать книгу «Граница и люди. Воспоминания переселенцев Приладожской Карелии и Карельского Перешейка», выпущенную недавно Карельским институтом университета Йознсуу и Европейским университетом в Санкт-Петербурге (СПб, 2005).

Характер исследований пограничья в последнее время существенно изменился. Если раньше речь шла главным образом о типологии контактов, о различного рода взаимовлияниях разных культурных традиций, то сейчас чаще рассматриваются вопросы идентичности пограничного населения, способы презентации локальных вариантов различного рода ценностных установок и подобные. Однако и прежние сюжеты остаются актуальными. Коснемся известных исследовательских схем, которые используются при рассмотрении контактов русского населения со своими ближайшими соседями. При этом нас будет интересовать в основном характер научного и околонучного дискурса, ориентированного на проблематику межкультурных контактов.

Хорошо известно, что пограничье и контактные зоны – сферы повышенной политической и идеологической заинтересованности. Взаимодействие «своего» и «чужого» всегда приводит к исключительно мифогенной ситуации. Это касается и науки. Сейчас становится ясно, что многие научные концепты, точнее, те понятия, которые до сих активно используются в языке научного описания (прежде всего такие, как *народ*, *культура*, *традиция* и др.), сформировались во многом под влиянием политических и идеологических установок¹. Политическая подкладка исследовательских тем, связанных с контактными зонами, стала причиной возникновения теоретических конструкций, которые по своему характеру близки к категориям

околонаучных мифов. Применительно к проблематике контактов русской культуры с иноэтничными культурными традициями речь может идти о двух распространенных сюжетах пограничной метамифологии. Рассматриваемые концепции являются примерами исследовательских построений, которые ранжируют пограничную ситуацию с диаметрально противоположных позиций.

Концепция первая: русская культура обладает *резистентностью* (то есть своего рода иммунитетом, невосприимчивостью) по отношению к своим непосредственным соседям. Другими словами, предполагается, что контакты русских со своими соседями носили односторонний характер: русская культура выступала если не исключительно, то преимущественно в качестве донора. Влияние иноэтничных культур на русскую было минимальным (если вообще допускалось). В 1929 г. Д. К. Зеленин пытался доказать, что финно-угорские народы не оказали никакого влияния на русскую культуру². Но широко известной концепция резистентности русской культуры стала после того, как она была сформулирована Д. С. Лихачевым в книге «Поэтика древнерусской литературы» (Л., 1967). Следует иметь в виду, что Д. С. Лихачев формулировал концепцию резистентности в контексте изучения древнерусской литературы по отношению к азиатским традициям. Он писал: «...прежде всего обращает на себя внимание полное отсутствие переводов с азиатских языков. Древняя Русь знала переводы с греческого, с латинского, с древнееврейского, знала переводы, созданные в Болгарии, Македонии и Сербии, знала переводы с чешского, немецкого, польского, но не знала ни одного перевода с турецкого, татарского, языков Средней Азии или Кавказа». И далее: «Как это ни странно, восточные сюжеты проникали к нам через западные границы Руси, от западноевропейских народов» (с. 12). Действительно, в письменной традиции дело обстояло именно таким образом, но мы практически ничего не знаем о сюжетах, передававшихся устным путем.

Затем Д. С. Лихачев выходит за рамки собственно литературных связей и формулирует более общий взгляд на специфику отношений русской культуры к азиатским традициям. Он пишет: «Это несомненно находится в связи с особой резистентностью древней Руси по отношению к Азии. Обращу внимание на следующий факт. В отличие от других стран Восточной Европы в России не было „потурченцев“, „помаков“ – целых групп или районов населения, перешедших в магометанство. До сих пор в Болгарии, в Македонии, в Сербии, в Боснии, в Хорватии есть местности, населенные магометанами из славян. В этих странах сохранились памятники славянской письменности на арабском алфавите. В России, напротив, неизвестно ни одной русской рукописи, написанной восточным

шрифтом. В магометанство переходили только отдельные пленники за пределами страны, но случаев перехода в магометанство целых селений или целых районов страны Россия, единственная из славянских стран, несмотря на существование татаро-монгольского ига в течение двух с половиной веков, не знала» (с. 13). Отсюда следует вывод, ставящий под сомнение еще один широко распространенный миф о том, что Россия являлась своего рода мостом между Европой и Азией. «Это значит подменять географическими представлениями отсутствие точных представлений по древнерусской литературе» (там же).

Нет оснований ставить под сомнение те выводы Д. С. Лихачева, которые касаются древнерусской литературы. Но их распространение на другие сферы культуры не кажутся бесспорными. Можно согласиться с мнением Дмитрия Сергеевича о том, что «не обнаружены сколько-нибудь заметные влияния азиатских стран в русском изобразительном искусстве и архитектуре» (с. 11). Но и сводить восточное влияние лишь к некоторым следам в орнаментальных мотивах (там же) тоже, видимо, не вполне справедливо.

Как и во многих подобных случаях, надежность выводов зависит, во-первых, от наличия материалов, достаточных для этих выводов, во-вторых, от масштаба сопоставления и, в-третьих, от того, о каких сферах культуры идет речь. Концепция особой резистентности русской культуры явно не срабатывает, если мы обратимся, например, к тюркским языковым влияниям. Лексические заимствования из тюркских языков именно в древнерусский период обильны и разнообразны (примерно такая же картина обнаруживается при исследовании пищи, одежды и других сфер культуры).

Показательно, что идея резистентности русской культуры в научных кругах была встречена весьма сдержанно, несмотря на авторитет Д. С. Лихачева. Во всяком случае, она не получила широкого распространения. Зато в околонаучных кругах она приобрела статус концепции, доказывающей самодостаточность русской культуры и ее исключительность. Теперь она уже ориентирована не только на Восток, но и на Запад. В качестве примера приведу отрывок из текста, размещенного в Интернете: «Самобытность и извечная невосприимчивость русских людей ко всяким там губительным для христианских душ *западным веяниям* (выделено мной. – А. Б.) всегда поражала и будет удивлять и впредь все остальные народы мира»³. Думаю, что Д. С. Лихачев рассчитывал на другой эффект.

Концепция вторая: русская культура состоит из сплошных заимствований. В отличие от концепции резистентности, она не имеет

определенного авторства, да и называть ее концепцией можно лишь с большой долей условности⁴. Строго говоря, эта точка зрения не могла не возникнуть в ситуации существования идеи резистентности. Скепсис по поводу русской уникальности может принимать и такие формы, причем речь идет не о каком-то внешнем конструкте, а о вполне внутренней точке зрения. Разумеется, как и всякое околонучное построение, эта позиция тоже имеет под собой некоторые основания. Действительно, в русской истории были периоды, когда приток заимствований был особенно интенсивным. В этом смысле показательным является, например, XVIII в., в течение которого русская культура энергично впитывала западные ценности в самом широком диапазоне. Но затем она не только «берет», но и «отдает». Литература XIX в. являет собой хороший тому пример.

Обе концепции апеллируют к такому глобальному конструкту, как **русская культура**. Собственно только при таком масштабе обе точки зрения находят какие-то подтверждения. Как только меняется масштаб и речь заходит о конкретных локальных процессах в конкретном пограничье и в конкретное время, так обе эти концепции оказываются неустойчивыми. Но на этом уровне, в свою очередь, появляются концепты, которые, как мне представляется, не проясняют, а, скорее, затушевывают реальную картину.

Если мы обратимся к работам, посвященным **конкретным** культурным процессам в пограничье и, более широко, – в контактных зонах, то увидим, что, пожалуй, наиболее частотными понятиями для их описания будут такие, как **взаимовлияния или взаимосвязи**. Эти концепты обычно никак не определяются (вроде бы и так понятно, о чем идет речь), но то, каким образом они используются, не может не привести к мысли, что немалую роль играет их политкорректность. Даже в тех случаях, когда описываются односторонние импульсы, речь идет о взаимовлиянии. Строго говоря, такое описание вполне справедливо, поскольку даже одностороннее влияние ведет к изменению конфигурации обеих контактирующих систем, но подобного рода рефлексии существуют исключительно на теоретическом уровне и эмпирически никак не верифицируются. На практике использование подобных концептов может объясняться только тем, что «так традиционно принято» описывать процессы в контактных зонах, или предполагается, что всегда можно найти примеры влияния в обе стороны.

В результате применительно к контактам русской культуры с иноэтническим окружением мы имеем две, я бы сказал, довольно-таки агрессивные разнонаправленные концепции, апеллирующие к культуре вооб-

ще, а в области исследования локальных зон пограничья, там, где мы вправе ждать конкретных результатов, господствует риторика взаимности. Вообще говоря, «научная мифология» и политкорректная терминология представляют значительный интерес хотя бы потому, что они самим фактом своего существования проблематизируют исследовательское поле. Их, наверное, не следует рассматривать с позиции «хорошо» или «плохо». Появление таких построений и соответствующего метаязыка по-своему диагностично. Они выполняют функцию сигналов о том, что в данной области знаний не все благополучно. Степень осмысленности любой проблематики характеризуется тем, насколько развит язык описания данной проблемы. Когда К. Гирц в своей известной книге «Интерпретация культур» призывал к расширению научного дискурса, он имел в виду прежде всего расширение возможностей интерпретации. Применительно к нашей теме это означает, что принципы описания культурных процессов в контактных зонах требуют серьезного обсуждения.

¹ См. материалы дискуссии «Основные тенденции антропологических исследований» в журнале «Антропологический форум». 2004. № 1.

² Зеленин Д. К. Принимали ли финны участие в формировании великорусской народности? // Тр. Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народностей. 1929. Вып. 1.

³ <http://samizdat.sol.ru/?q=30&pub=1000&page=33>.

⁴ Что не мешает ее активному обсуждению. См., например, дискуссию на сайте <http://www.lovehate.ru/opinions/20138/2>.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ

© *М. Г. Косменко*
Петрозаводск

Основные концепции этноса и проблемы этнической принадлежности культур бронзового века – раннего средневековья в Карелии

К числу сложных проблем изучения далекого прошлого Северо-Западной Европы относится происхождение финноязычных народов. Нужно кратко рассмотреть общие подходы к пониманию этноса и основные концепции генезиса европейских финно-угров с целью определить наиболее перспективное направление исследовательской мысли.

В этнологии второй половины XX в. сложились два основных подхода, отражающие разное понимание этносов. Примордиальный, иначе эволюционный, подход подчеркивает их биологическую основу. Согласно многим зарубежным и российским авторам¹, этническая принадлежность людей обусловлена кровными узами. Многие российские этнологи отдают приоритет объективным компонентам, но критерием разграничения этносов признают субъективное сознание. Отсюда разделение на этносы и историко-этнографические общности, которые обладают сходством культуры, но не осознаются людьми. В археологии ему близки эволюционный и культурно-исторический подходы. Примордиальный подход не вскрывает механизм сложения этнических общностей и противоречит многим фактам неустойчивости этносов и непостоянства их границ. Основным пороком подхода является «схоластическое представление, что статистические множества, обладающие культурной гомогенностью... являются природной основой для социальных субъектов»².

Инструментальный, иначе ситуационный, подход³ подчеркивает зависимость этносов от исторических условий и событий. Этнос рассматривается как особый вид социальной общности. Согласно Ф. Барту⁴, этнические общности – это инструмент достижения индивидуальных целей.

Культуре этноса он отводит второстепенную роль. Другие инструменталисты признают значимость коллективных норм и культуры, которая, по А. Козну⁵, «не является суммой стратегий независимых индивидуумов», а В. А. Тишков⁶ определяет этнос как общность «на основе культурной самоидентификации по отношению к другим общностям». Инструментальный подход акцентирует социальные функции этноса и мотивы самоопределения людей, но не дает ясного представления о специфике этносов, которые фактически приравниваются к социальным группам интересов. Четко не объясняются причины устойчивости расового облика, языка и иных черт культуры этносов. Инструментальный подход перекликается с «новой» археологией, которая придает решающее значение адаптивным функциям материальной культуры.

Оба подхода дополняют друг друга. Наиболее удачной попыткой их объединения, пожалуй, является «практическая теория» Ш. Джоунс⁷. Этот подход можно обозначить как «традиционалистский». Сумма традиций, сложившихся в повседневной практике, с детства формирует сознание людей и, в конечном счете, специфику этносов. Комплексы приобретенных предпочтений оказывают решающее влияние не только на поведение людей в конкретных ситуациях, но и на устойчивые расовые, языковые и культурные черты, если иметь в виду предпочтения в сфере брачных отношений и степень языковой и культурной восприимчивости.

Данному подходу близки взгляды европейских археологов-постпроцессуалистов, утверждающих, что символические «тексты материальной культуры проще расшифровать, чем письменные документы, язык которых нам неизвестен»⁸. Эта установка чревата произвольной расшифровкой символов. Современные создатели изображений обычно объясняют их содержание с помощью зрительных, зачастую случайных образных аналогий, а не смысловых или сигнальных ассоциаций⁹. Отсутствие представлений о смысле таких признанных символических мотивов, как свастика, «ромбы с крючками», «всадницы» и другое, отмечается у карел, вепсов, саамов¹⁰. Данная ситуация понятна. Сознательное отношение к традициям не является необходимым условием их воспроизводства. Воспроизводство материальной культуры – это цепь «запечатленных действий, которые относятся к иному роду сознания, чем то, которое выражают семантика и синтаксис языка»¹¹. Исследователи приписывают осознанные смысловые или информационные цели древним людям, опираясь на свои представления о содержании изображений.

Археологи более или менее успешно выделяют культурные ареалы, но испытывают затруднения с выявлением следов этносов, так как «общности в материальной культуре... не обязательно совпадают с

территорией и границами... древних этнических групп»¹². Этнические границы могут отчетливее проявляться как следствие отторжения чужеродных новшеств. Их надежнее выявлять путем анализа взаимной адаптации разнородных культур.

В современных теориях происхождения финноязычных народов полностью доминирует примордиальный подход. Есть тенденция к крайним эволюционным решениям, когда пытаются найти истоки финно-угорских народов даже в эпохе верхнего палеолита. Примордиалистские версии генезиса финно-угров сводятся к двум концепциям, которые фактически оформились в качестве общих теорий. Это восточная, иначе уральская, и западная теории.

В финно-угроведении долго преобладала восточная миграционная теория. Она основана на модели дерева уральских языков, сложившейся во второй половине XIX в. Западные финноязычные народы рассматриваются как потомки переселенцев из области прародины, которая находилась, по разным версиям, от Алтая до Среднего Поволжья. Многие российские археологи связывали переселение финнов на Запад с культурами каменного века – энеолита. Современные версии (М. Г. Косменко, С. В. Кузьминых, И. С. Манюхин, В. В. Напольских) учитывают новые данные о генезисе культур лесной зоны. Но и для них ключевой вопрос о смене языка в западных регионах остается камнем преткновения.

Восточная теория игнорирует вопрос об отношениях финно-угров с местным населением, кроме антропологов, которые пытались объяснить расовую пестроту финно-угорских народов. Археологи не установили факт массового переселения финно-угров на Запад, нет там и восточной, пермской топонимии, а многие названия близки к поволжским типам¹³. У западных народов преобладают европеоидные черты, заставляющие признать, как минимум, участие местного населения в их формировании. Однако восточная теория не беспочвенна. Лингвисты давно описали сходство лексики финно-угорских языков. В западных регионах есть комплекс элементов культуры железного века восточного происхождения. В расовом облике западных народов и в древней культуре имеется компонент восточного происхождения, но модель восточной прародины финнов противоречит данным антропологии и археологии.

Западная теория объединяет лингвистов – сторонников прародины финнов в ареале от Урала до Балтики (П. Аристэ, Э. Итконен, А. Йоки) и авторов новых моделей формирования уральских языков в образном виде «мангрового дерева», «куста», «зубцов гребня» или «цепи прародин» (К. Виик, А. Кюннап, Я. Пустаи, П. Саммалахти и др.). С ними перекликаются взгляды тех антропологов, согласно которым в каменном веке между Уралом и Балтикой сложилась североевропейская реликтовая, иначе

«уральская», раса (В. В. Бунак, И. И. Гохман, Г. М. Давыдова, А. А. Зубов и др.). В рамках западной теории различаются две концепции генезиса западных финноязычных народов: балтийская и волго-окская.

Основы балтийской концепции в начале XX в. заложил германский археолог Г. Коссинна¹⁴. По его версии, протофинны – это потомки европейского населения эпохи палеолита, которое позднее продвинулось в Скандинавию и далее в Сибирь до северной Японии. Прародиной индоевропейцев и финно-угров он считал территорию Франции. Современные сторонники балтийской концепции развивают взгляды Г. Коссинны, но не комментируют идею миграции протофиннов в Азию. Они базируются на данных генетики, антропологии и лингвистики, которые с поправками проецируются в каменный век. Зарубежные и российские археологи тоже высказывали мнения о финноязычности населения эпохи мезолита в Прибалтике и Фенноскандии (Д. Ласло, Г. А. Панкрушев, М. Нуньез, П. М. Долуханов, В. Я. Шумкин). Основанием балтийской гипотезы следует признать факт отсутствия преобладающего комплекса восточных черт у населения Прибалтики и Фенноскандии, но балтийская концепция умозрительна, как и восточная теория. Прямые проекции ряда современных черт в глубокую древность приводят к упрощенным эволюционным схемам этногенеза «от Адама». Западноевропейское происхождение языков балтийских финнов и саамов точно не установлено. Остается неясным, где, когда и как сложилось сходство финно-угорских языков и является ли оно реликтом их бывшего общего состояния. Недостатком этой концепции в археологии является отсутствие развитой техники анализа смены культурных типов.

Другой вариант западной теории базируется на идее сложения протофинской общности в центре Русской равнины. В 1950-е гг. оформилась волго-окская гипотеза, согласно которой появление протофиннов в Прибалтике и Фенноскандии связано с распространением в неолите культуры с ямочно-гребенчатой керамикой из Волго-Окского междуречья (П. Аристе, Х. Моора, Л. Янитс, К.-Ф. Мейнандер, К. Карпелан, Х. Лескинен, А. Парпола, П. Саммалахти)¹⁵. Эта концепция прочнее адаптирована к данным лингвистики и устраняет пробел балтийской концепции, не объясняющей родство балтийских и волжских финских языков. Однако критерии выделения протофинской общности в западных культурах эпохи неолита надежно не обоснованы. Генезис культуры с ямочно-гребенчатой керамикой совершенно не связан с камско-уральским регионом. Поэтому волго-окская концепция не объясняет сходство финно-угорских языков и наличие восточных расовых элементов у западных народов. Сторонники волго-окской гипотезы не доказали распространение данной культуры из Поволжья именно к Северу.

Теория гибридного происхождения финноязычных народов предполагает минимум два разнородных компонента, на основе которых сложились эти этносы. Однако данная концепция слабо разработана. Ее излагали антропологи Г. Ф. Дебец, В. П. Алексеев, Р. А. Денисова, Ю. Д. Беневоленская и другие в виде теории скрещивания европеоидов и монголоидов¹⁶. Она перекликается с полицентрическими моделями сложения уральских языков. Существенное различие морфологии пермских и западных финских языков¹⁷ выводит решение вопроса на пути полицентрической концепции. Проблемой остается сходство лексики финно-угорских языков, которое могло сложиться в ходе взаимной адаптации разнородных этносов. Полицентрическая модель сложения финно-угров с последующей интеграцией с камско-уральским этническим компонентом наиболее перспективна для дальнейшей разработки.

Форма и содержание процессов смены культур Карелии от бронзового века до раннего средневековья значительно различались¹⁸. Эти процессы свидетельствуют о смешанном происхождении западных культур. Культура сетчатой керамики бронзового века Карелии содержит комплекс элементов поволжского происхождения при отсутствии признаков адаптации к субстратной культуре и ограниченной адаптации к местной природной среде. В данном случае вероятны радикальные изменения вплоть до полной смены языка в результате миграции населения из левобережных областей Верхнего Поволжья.

Иначе складывался ананьинский пласт культуры в раннем железном веке. Здесь смешаны поволжские и камско-уральские элементы, более заметна культурная и экологическая адаптация. Можно говорить о диффузии восточного населения и его культуры в среду западных этносов. Нет оснований предполагать смену языка на восточный, кроме внедрения новой лексики. Этот пласт древностей в Карелии связан с южными, лесными, саамами, а сложение ананьинского культурного ареала от Урала до Балтики означало становление финноязычной общности.

Смена культуры в раннем средневековье была обусловлена адаптацией населения к новым историческим условиям. Поселения с лепной керамикой, видимо, отражают ранний этап продвижения в бассейн Онежского озера балтийских финнов, которые прочно здесь не осели и занимались охотой и торговлей. Саамы прекратили производство керамики и продолжали занимать большую часть Карелии. Прежнее уральское направление их связей было переориентировано на бассейн Балтики, и это ускорило обособление южных саамов от восточных и поволжских этносов.

- ¹ Обзоры см.: Jones S. The archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and present. London and New-York, 1997. Chap. 4; Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. Гл. 1.
- ² Тишков В. А. Реквием по этносу. М., 2003. С. 136.
- ³ Обзоры см.: Jones S. Op. cit.; Соколовский С. В. Российская этнография в конце XX в. // Этнографическое обозрение. 2003. № 1.
- ⁴ Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organisation of Culture Differencies. Bergen; Oslo; London, 1969. P. 9–38.
- ⁵ Cohen A. Introduction: The Lesson of Ethnicity // Urban Ethnicity. London, 1974. P. xiii.
- ⁶ Тишков В. А. Указ. соч. С. 115.
- ⁷ Jones S. Op. cit.
- ⁸ Hodder I. Reading the Past. Current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge, 1991. P. 126.
- ⁹ Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник // ТИЭ. 1963. Т. 81, гл. 1.
- ¹⁰ Косменко А. П. Традиционный орнамент финноязычных народов северо-западной России. Петрозаводск, 2002. Гл. 1.
- ¹¹ Graves P. Flakes and ladders: what the archaeological record cannot tell us about the origins of language // World archaeology. 1994. Vol. 26, № 2. P. 167.
- ¹² Jones S. Op. cit. P. 122.
- ¹³ Афанасьев А. П. Западные и юго-западные границы гидронимов пермского типа // Тр. Института ЯЛИ Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1985. Вып. 36; Матвеев А. К. Происхождение основных пластов субстратной топонимики русского Севера // Вопросы языкознания. 1969. № 5.
- ¹⁴ Kossinna G. Der Ursprung der Urfinnen und der Indogermanen und ihre Ausbreitung nach dem Osten. Vortrag gehalten am 18 Juli 1908 // Mannus. Leipzig, 1909. Bd 1.
- ¹⁵ См., например: Moora H. Zur ethnischen Geschichte der ostseefinnischen Stämme // Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. Helsinki, 1958. № 59. 3; Carpelan C. and Parpola A. Emergence, Contacts and Dispersal of Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in Archaeological Perspective // MSFOu. Helsinki, 2001.
- ¹⁶ См., например: Дебец Г. Ф. О путях заселения северной полосы Русской равнины и восточной Прибалтики // СЭ. 1961. № 6; Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969; Давыдова Г. М. Об участии древнеуральского населения в формировании западных финнов (по материалам антропологии) // Вопросы финно-угроведения. Сыктывкар, 1979.
- ¹⁷ Серебrenников Б. А. Общезыковедческие аспекты теории волн И. Шмидта // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
- ¹⁸ Косменко М. Г. Археологические культуры периода бронзы – железного века в Карелии. СПб, 1993.

© В. И. Хартанович
Санкт-Петербург

Антропологический состав карельского народа (общность и специфика территориальных групп как результат межэтнического взаимодействия)

Академик К. М. Бэр, один из крупнейших естествоиспытателей XIX в., писал: «Несомненно, нет ни одного государства, для которого

богатое краниологическое собрание представляло бы такой интерес и было бы столь важно и необходимо для изучения его прошлого, как для России»¹.

Основным итогом сбора и изучения краниологических материалов является, во-первых, построение синхронной таксономической классификации, базирующейся на определении степени сходства (генетического родства) между различными близкими по времени популяциями. Во-вторых, строится диахронная классификация, при которой краниологические данные сопоставляются с палеоантропологическими, выясняются истоки формирования современных популяций. Очевидно, что первостепенное значение в таком процессе имеет изучение географической варибельности признаков, выделение антропологических комплексов в составе разных групп населения, определение этнической локализации таких комплексов.

Систематические работы по сбору и изучению краниологических материалов развернулись в советское время, с 1930-х гг. К 1950–60-м гг. советскими антропологами был завершен первый этап антропологического изучения страны. Однако в части, касающейся изучения антропологии населения Северо-Запада России, исследователи сталкивались с проблемой отсутствия материалов. Оставались значительные лакуны, объясняемые отсутствием близкого к современности, и древнего, краниологического материала, в первую очередь, по прибалтийско-финским народам. Объяснялось это и крайне плохой сохранностью костного материала в северных почвах и, возможно, недостаточными усилиями самих антропологов в комплектовании источниковедческой базы краниологических исследований.

На IV Международном конгрессе финно-угроведов в 1975 г. в Будапеште принято специальное постановление, настоятельно рекомендующее обратить особое внимание на накопление «близких к современности» антропологических материалов по финно-угорскому населению и их сравнительное изучение. С 1976 г. в отделе антропологии МАЭ РАН были организованы работы по систематическому сбору и исследованию близких к современности краниологических материалов финноязычного населения Севера европейской части России. Была поставлена задача не только дать общую краниологическую характеристику народа на основании единичной серии черепов, но и исследовать территориальную изменчивость в разных частях ареала его расселения. К настоящему времени эта задача в основной части выполнена. Впервые получены отсутствовавшие в мировых собраниях представительные коллекции по финно-угорским народам России: саамам, карелам, финнам Северо-Западного Приладожья, ижоре, вепсам, коми-зырянам и коми-пермякам (рис. 1). Была получена первая и единственная на настоящее время позднесредневековая краниологическая серия из северной Карелии – из могильника XVII в. Алозеро (Калевальский район).

В выполнении работ с 1998 г. финансовую поддержку оказывают Российский гуманитарный научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований. С 2003 г. исследования продолжились и в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Этнокультурное взаимодействие в Евразии», проект «Историческая антропология человеческих популяций северной Евразии (на материалах коллекций и баз данных МАЭ РАН)», номер Госконтракта 10002-251/П-23/238-244/020703-982.

Собранные в результате длительных экспедиционных работ краниологические материалы были изучены и опубликованы в ряде работ².

Краниологические серии сопоставлены с близкими к современности материалами с территории Восточной Европы и Фенноскандии. Для сопоставления была привлечена 51 краниологическая серия с территории (см. табл.), применялся анализ главных компонент десяти краниометрических признаков.

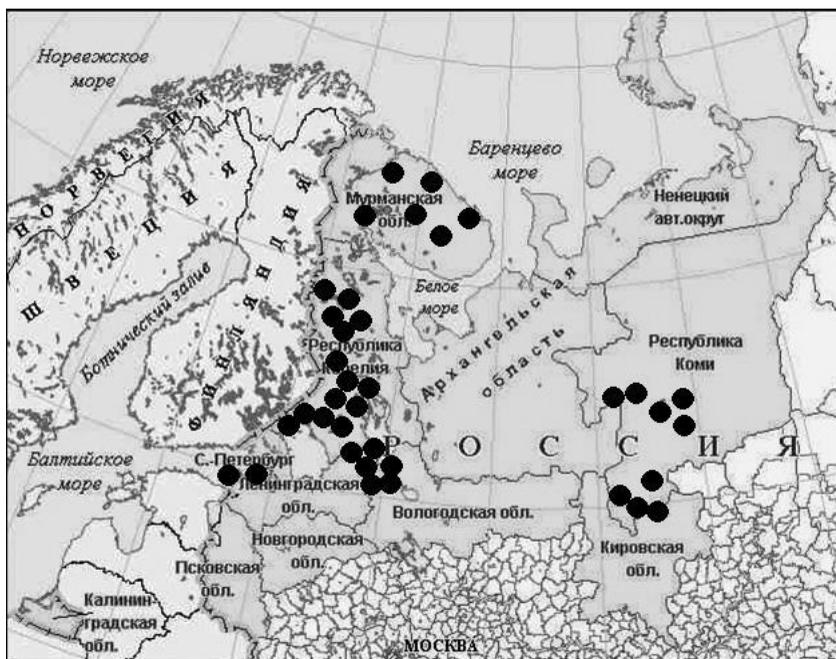


Рис. 1. Собранные краниологические серии VIII – начала XIX в.

Сравнительные краниологические материалы

№	Серия	Этническая группа	Источник
1	2	3	4
1	Липпово	Ижора	Хартанович В. И. Краниология ижор // Расы и народы. Вып. 30. М., 2004.
2	Суйстамо I	Карелы	Хартанович В. И. Краниология карел // Антропология современного древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986.
3	Турха	То же	То же
4	Кондиевуара	”	”
5	Пеккавуара	”	”
6	Боконвуара	”	”
7	Компаково	”	”
8	Чикша	”	”
9	Регярви	”	”
10	Варбола	Эстонцы	Марк К. Ю. Вопросы этнической истории эстонского народа в свете данных палеоантропологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956.
11	Аймла	То же	То же
12	Кабина	”	”
13	Ряпина	”	”
14	Кохтла-Ярве	”	”
15	Ингерманландцы	Финны	Алексеев В. П. Краниологическая характеристика населения Восточной Фенноскандии (по материалам Г. Ф. Дебеца) // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974.
16	Суйстамо II	То же	Хартанович В. И. Краниология карел // Антропология современного древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986.
17	Куркиёки	”	Хартанович В. И. Краниологии населения Северо-Западного Приладожья XIX – начала XX в. // Балты. Славяне. Финны. Рига, 1990.
18	Саво	”	Khartanovich V. Origin of the Baltic-Finns on the bases of craniological series // Physical anthropology and population genetics of Vologda Russians. Helsinki, 1993.
19	Хяме	”	То же
20	Уусимаа	”	”
21	Хельсинки	”	”
22	Варсинайс-Суоми	”	”
23	Петерсере	”	”
24	Южная	”	”
25	Похъянмаа Северная	”	”
26	Похъянмаа Сатакунта	”	”

Окончание табл.

1	2	3	4
27	Архангельская губ.	Русские северо-западных губерний России	Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (Краниологическое исследование). М., 1969.
28	Петербургская губ.	То же	То же
29	Новгородская губ.	”	”
30	Псковская губ.	”	”
31	Олонецкая губ.	”	”
32	Вологодская губ.	”	”
33	Старая Ладога	”	”
34	Себеж	”	”
35	Рухну	Шведы	Алексеев В. П. Краниологическая характеристика населения Восточной Финноскандии (по материалам Г. Ф. Дебеца) // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974.
36	Шведы Финляндии	То же	То же
37	Дурбе	Латыши	Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (Краниологическое исследование). М., 1969.
38	Западные латыши	То же	То же
39	Лудза	”	”
40	Пургайли	”	Денисова Р. Я. Этногенез латышей (по данным краниологии). Рига, 1977.
41	Кокнесе, Резнес	”	То же
42	Дудиняс	”	”
43	Яункандава	”	”
44	Гервете, Салдус	”	”
45	Леймани	”	”
46	Пулозеро	Саамы Кольского полуострова	Хартанович В. И. Новые материалы к краниологии саамов Кольского полуострова // Сб. МАЭ. 1980. Т. 36.
47	Чальмны-Варрэ	То же	То же
48	Варзино	”	”
49	Иоканга	”	”
50	Утсйоки	Саамы Финляндии	Неопубликованные материалы*
51	Иннари	То же	То же

* Автор выражает признательность А. Г. Козинцеву за предоставление неопубликованных данных по саамам Иннари и Утсйоки.

Положение исследованных групп в пространстве I и II главных компонент приводится на рис. 2. К карелам относятся девять серий черепов, представляющих основные группы карельского народа – карел-ливвиков, карел-людиков, группы собственно-карельского диалекта, сегозерских карел³. Специфичность антропологического типа, преобладающего в составе карельского народа, отражена и на графике (см. рис. 2), где карельские популяции занимают в целом отдельный ареал.

Среди краниологических серий карел наряду с общими чертами отмечаются специфические особенности, позволяющие выделить ряд вариантов в пределах общего антропологического типа. Черепа из северной Карелии (Чикша, Регярви), с территории распространения собственно-карельского диалекта, – наиболее массивные, с очень большой высотой черепа, очень широким лицом, узким, сильно выступающим носом, высокими костями и переносьем. Группы карел-ливвиков и людиков из средней Карелии отличаются от северных преимущественно более узким лицом.

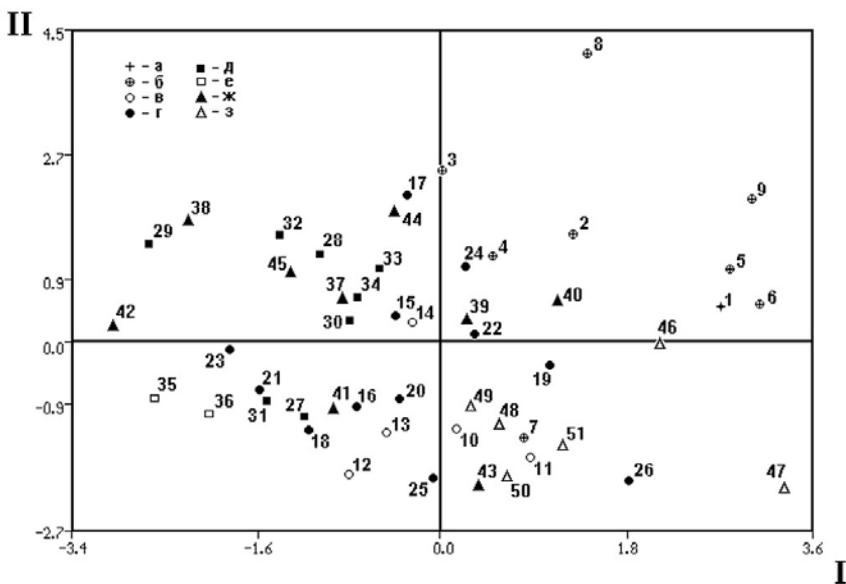


Рис. 2. Положение краниологических серий ижоры, карел, эстонцев, финнов, русских, шведов, латышей, саамов в пространстве I и II главных компонент:

а – ижора, б – карелы, в – эстонцы, г – финны, д – русские, е – шведы, ж – латыши, з – саамы. Нумерацию групп см. в табл.

Особый интерес представляют краниологические серии, происходящие из районов расселения сегозерских карел. В культуре этой этнографической группы данные фольклористики и этнографии фиксируют элементы возможного саамского влияния. В целом вариации признаков черепов карел Сегозерья не выходят за рамки изменчивости показателей в пределах общего для карел антропологического типа, и говорить о сходстве с лапоноидным комплексом можно только как о незначительной тенденции.

Среди материалов с территории Карелии присутствуют и серии, существенно отличающиеся по своему антропологическому типу от остальных карельских. Это, во-первых, одна из групп из Северного Приладожья. В этом районе был изучен могильник XVIII в. Суйстамо, погребения которого в ряде случаев удалось разделить на лютеранские и православные. По основным характеристикам материалы из лютеранских погребений (Суйстамо II) явно отличны от черепов из захоронений с православным обрядом (Суйстамо I). Первые близки к финским, тогда как черепа из православных погребений близки к карельским. Такой факт подтверждает аргументы о том, что карелы в этом регионе сохраняли свое религиозное и культурное своеобразие. Но он говорит и о том, что карелы в Северном Приладожье сохраняли и специфику антропологического типа.

Судя по данным краниологии, иные процессы имели место при формировании антропологического состава населения Северо-Западного Приладожья⁴. Краниологическая серия из Куркиёки, представляющая население Северо-Западного Приладожья конца XVIII – начала XIX в., оказалась однородной в антропологическом отношении и промежуточной по многим признакам между финскими и карельскими черепами, но ближе к последним. Такая однородность свидетельствует о законченности процессов метисации финского и карельского населения в этом регионе, а ее промежуточное положение при сдвиге в «карельскую» сторону – о значительной доли участия карельского субстрата в сложении антропологического типа жителей юго-западной Карелии этого периода.

Вторая серия черепов, по своим особенностям резко отличающаяся от остальных карельских, происходит с территории Беломорского района и была получена из могильника близ дер. Компаково. Антропологический комплекс черепов из Компаково наиболее близок к саамскому антропологическому варианту, представленному в тундровых, прибрежных группах саамов Кольского полуострова. Эти группы саамов, в свою очередь, по всей вероятности, являются смешанными по происхождению, включившими в свой состав разнообразных европейских пришельцев.

Таким образом, собранные материалы выявили, с одной стороны, общность и специфичность распространенного в составе карел комплекса антропологических особенностей, с другой – наличие в составе карельского народа локальных антропологических вариантов, свидетельствующих о межэтнических контактах, особенно заметных в зонах пограничного проживания этнических групп.

Следует подчеркнуть, что в составе каждого, не только карельского, народа имеется какое-то количество локальных групп, попадающих по своим антропологическим особенностям не на «положенное» им место в пределах «своего» этноса, а в состав антропологического варианта других этнических или даже лингвистических групп. Данные всех систем антропологических признаков, безусловно, свидетельствуют о том, что понятия «этнос», «языковая группа», «антропологический тип» не синонимы. В составе «этноса» могут быть и, как правило, присутствуют представители разных антропологических типов.

Примененные методы анализа, таким образом, предоставляют возможность сделать следующие выводы о взаимоотношении изученных групп. Очевидна отчетливая антропологическая близость серии черепов ижоры к карельским краниологическим материалам, позволяющая предполагать тесное генетическое родство и единую основу формирования двух этих народов.

В составе финноязычных народов (карел, коми-зырян, ижоры) в результате проведенных исследований был выявлен очень специфичный комплекс признаков. Представители этих народов сходны между собой и по данным других систем антропологических признаков, прежде всего соматологии. На стоматологических материалах этот комплекс признаков получил название «восточнобалтийского» («балтийского») антропологического типа⁵. Однако данные соматологии в силу ограниченности возможностей диахронного анализа не давали ответа на вопрос об истоках формирования такого комплекса.

Краниологические данные показали, что данный комплекс отличает карел, ижору и коми-зырян от остальных близких к современности серий черепов с территории Евразии, в том числе и их лингвистических «родственников» (финнов-суоми, эстонцев, вепсов, поволжских финнов). Именно на краниологических материалах удалось найти ближайшие аналогии этому комплексу – только среди древнейших (мезо-неолитических) жителей восточнобалтийского ареала.

Ретроспективный анализ показывает, что среди всех более ранних палеоантропологических материалов как рассматриваемой территории, так и Евразии в целом аналогичными особенностями обладают только черепа из мезо-неолитического могильника Звейниёки, расположенного в Латвии⁶. Дан-

ный факт, конечно, нельзя рассматривать как свидетельство прямой генетической преемственности части современных прибалтийских финнов с населением, оставившим этот памятник. Скорее всего, его следует связывать с сохранением в отдельных, в ходе исторического развития наименее подвергавшихся разнообразным влияниям популяциях Северо-Запада России и Восточной Прибалтики древнейшего на этой территории антропологического типа. Речь идет о североевропейском антропологическом типе, распространенном в мезолите на огромных пространствах Европы, от Западного и Восточного Прионежья и Украины до Югославии, Дании и Южной Швеции и генетически происходившим от верхнепалеолитического населения европейской северной приледниковой зоны⁷. Один из вариантов этого комплекса представлен черепами из могильника Звейниёки.

Обоснование гипотезы об антропологической преемственности древних, мезо-неолитических и части современных жителей северо-запада Восточной Европы требует ответа на вопрос, почему данный комплекс признаков не был выявлен ранее на других материалах. Нам представляется, что это зависело от степени антропологической изученности древнего и современного населения, территориальной и хронологической репрезентативности введенных в научный оборот краниологических данных. Справедливо предположить, что консервация древнейших антропологических комплексов в этом регионе, отличавшемся интенсивностью миграционных процессов, могла происходить в двух случаях. Они могли сохраняться либо в занимающих географически относительно изолированную территорию группах населения (например, у карел и коми-зырян, где такой тип распространен практически повсеместно), либо в отдельных популяциях, дисперсно и случайно распространенных во времени и пространстве по всему ареалу. Естественно, что при последнем условии частота встречаемости таких комплексов будет невысокой, но увеличивающейся по мере накопления данных. Такие примеры нам известны – упомянутый латвийский могильник Пургайли XVIII в., где особенности древнего типа представлены в «ослабленном» виде. Зафиксирован этот комплекс признаков и в недавно введенных в научный оборот краниологических материалах из «каменных ящиков» славянского средневекового могильника Раглицы, расположенного в Новгородской области.

¹ Baer K. Nachrichten über die ethnographischer-craniologische Sammlung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg // Bull. de la classe physico-mathématique de l'Acad. imp. des sciences de St. Petersburg. 1859. Т. 17, № 12, 13, 14.

² Гохман И. И., Лукьянченко Т. В., Хартанович В. И. О погребальном обряде и краниологии лопарей // Полевые исследования Института этнографии 1976 г. М., 1976; Хартанович В. И. Результаты исследования новой краниологической серии саамов // Полевые

исследования Института этнографии 1978 г. М., 1980. С. 181–188; Он же. Новые материалы к краниологии саамов Кольского п-ова // Сб. МАЭ. 1980. Т. 36; Он же. Краниология карел // Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986; Он же. К краниологии населения Северо-Западного Приладожья XIX – начала XX в. // Балты. Славяне. Финны. Рига, 1990; Он же. Краниология коми-зырян // Сб. МАЭ. 1992. Т. 44; Он же. Материалы к краниологии финнов // Антропология сегодня. Вып. 1. 1995; Он же. Финноязычные народы Северо-Западной России по данным физической антропологии. Краниология // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 32–38; Он же. Новые краниологические материалы по саамам Кольского полуострова // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез. СПб, 2004. С. 108–125; Он же. Краниология ижор // Расы и народы. Вып. 30. М., 2004.

³ Хартанович В. И. Краниология карел.

⁴ Он же. К краниологии населения Северо-Западного Приладожья...

⁵ Витов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров Н. Н. Этническая антропология Восточной Прибалтики // Тр. Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. М., 1959. Т. 2; Происхождение и этническая история русского народа // Тр. Института этнографии АН СССР. Нов. сер. 1965. Т. 86; Марк К. Ю. Антропология прибалтийско-финских народов. Таллин, 1975.

⁶ Денисова Р. Я. Антропология древних балтов. Рига, 1975; Она же. Этногенез латышей (по данным краниологии). Рига, 1977.

⁷ Гохман И. И. Новые палеоантропологические находки эпохи мезолита в Каргополье // Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. Л., 1984; Он же. Антропологические особенности древнего населения европейской части СССР и пути их формирования // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. Л., 1986.

© В. Ф. Филатова
Петрозаводск

Этнокультурные аспекты в изучении мезолитических древностей на территории Карелии

Вопросы происхождения и этнокультурной принадлежности мезолитических древностей на территории Карелии приобретают особую значимость в ходе изучения этноисторических процессов, в частности, при попытках связать их с историческими этносами финно-угорской языковой семьи. Вместе с тем не в полной мере разработаны фундаментальные для этноистории понятия «этнос» и «этничность», не установлены значение и вес определяющих признаков, их историческая глубина¹. Понимая это, исследователи предлагают не реконструкцию древних этносов, а изучение процесса этногенеза комплексно, с использованием всех источников (археологии, лингвистики, антропологии и пр.), поскольку разные их виды отражают различные аспекты этнических реальностей и стороны жизни людских сообществ. При этом полагают, что для каждого временного

отрезка человеческой истории существует свой набор основных источников. Для эпохи первобытности таковыми могут служить лишь археология и антропология. Проследить этнические процессы для этого времени по археологическим данным можно по пути выявления изменений определенного характера в материальной культуре. Антропология, в свою очередь, способна выявить другие стороны этих процессов². В свете обозначенных подходов попытки ряда исследователей найти истоки народов финно-угорской языковой семьи в палеолите – мезолите³, по меньшей мере, преждевременны. На современном этапе археологических знаний в восточноевропейской лесной зоне и Фенноскандии о происхождении и этнокультурной принадлежности (точнее, об этапах культуругенеза) комплексов и их групп (культур) эпохи камня можно судить путем выявления направленности связей и аналогий отдельным элементам материальной культуры⁴. Это относится к мезолитическим древностям Карелии.

Практически все исследователи сходятся на том, что их появление в регионе (то есть его заселение) произошло в результате миграции населения в голоцене из ранее освободившихся от последствий оледенения областей на уже благоприятные по природным показателям новые территории. Различия наблюдаются в оценке направлений движения и времени заселения. Существуют разные взгляды на эти проблемы. Так, до сих пор принимается гипотеза о Зауральском – Приуральском происхождении ранних комплексов, их протосаамской принадлежности (кварцевый мезолит, 10 тыс. до н. э.) и протофинно-угорской более поздних (кремневый мезолит, с 8 тыс. до н. э.) из Волго-Окского междуречья⁵. Первые насельники, считал Г. А. Панкрушев, достигли Финляндии. На этой основе сложилась единая для обоих регионов кварцево-сланцевая культура аскола-суомусъярви, переросшая затем в культуру сперрингс. В протоугро-финской среде в юго-восточной Карелии впоследствии появляется ямочно-гребенчатая керамика.

Некоторые исследователи процесс заселения Карелии связывают с движением потомков свидерского населения в ходе его распространения с территории первичного обитания на северо-восток, в центральные области Русской равнины, в Карелию и восточные районы Финляндии, полагая их предками народов финно-угорской языковой семьи⁶. Другие, не ставя вопрос об этнической принадлежности населения, считают вероятным заселение с начала пребориала из области кундско-бутовской культурной общности по Карельскому перешейку, далее – в Финляндию и по Онежско-Ладожскому на берега Онежского озера⁷ или связывают его генезис непосредственно с культурой кунда Восточной Прибалтики⁸. По мнению Л. В. Кольцова, комплексы «кремневого мезолита» родственны бутовской культуре и появились в ходе ее распространения с Верхней

Волги на север⁹. Полагают также вероятным заселение края из области веретинской культуры Восточного Прионежья в ходе продвижения ее населения западнее, где оно смешивалось с какими-то местными группами, возможно, теми, которые представлены особями с монголоидными признаками в Оленеостровском могильнике¹⁰. Высказано мнение о заселении Карелии и восточных районов Финляндии из области Восточного Прионежья¹¹.

По-видимому, окончательное решение проблемы происхождения и этнокультурной принадлежности мезолитического населения Карелии и, тем более, его связи с историческими этносами территории – дело будущего. Пока следует обратить внимание на некоторые обстоятельства, без учета которых все предлагаемые гипотезы выглядят малоубедительными. В их ряду отношения мезолитических комплексов Карелии и финляндских типа аскола-суомусъярви. Некоторые из археологов отрицают существование этапа аскола в качестве древнейшего, культуру суомусъярви считают локальной, охватывающей преимущественно северное побережье Финского залива, а мезолит в целом – однородным по генезису и культурной принадлежности¹². Согласно другим представлениям, комплексы западных районов связаны с кругом западноевропейских культур, а восточные и часть северных древностей – с постсвидерскими культурами Восточной Европы, при этом допускается заселение крайних северных участков с севера Норвегии или Швеции и наоборот. Допускают также заселение Финляндии и пограничных районов Карелии с территории культуры кунда, рассматривая последнюю как обширный ареал родственных культур от Балтийского моря до Восточного Прионежья включительно¹³. Вместе с тем в последнее время приведены вполне убедительные доказательства отличий комплексов типа суомусъярви и северных-северо-западных карельских¹⁴, хотя вывод исследователя об однородности последних и восточнофинляндских, на наш взгляд, не соответствует показателям фактических материалов. Совершенно очевидно также, что отличительные мезолит Финляндии признаки¹⁵ не имеют аналогов в мезолитических комплексах остальной части Карелии и утверждения об их сходстве и родстве не более как длительное время существующее заблуждение.

Следует иметь в виду локализацию известных к настоящему времени мезолитических древностей на территории Карелии группами на участках, прилежащих к разным эколого-географическим микрорегионам и отделенных друг от друга водоразделами, что во многом определяло направленность путей освоения и, в конечном итоге, генезис первого населения. Это не позволяет решать вопросы их происхождения суммарно.

Выделяются две такие крупные группы памятников: 1 – в северо-западных-северных районах бассейна Белого моря и 2 – в бассейне Онежского озера. Мезолит в юго-западной-западной части края практически не изучен, скудные материалы известных там нескольких стоянок культурной атрибуции не поддаются. В силу этого все предположения о путях и времени ее заселения некорректны.

Установлено также, что характер существующих отличий между комплексами мезолита двух намеченных групп препятствует их объединению в единую культуру. Северо-западные-северные комплексы явно тяготеют к мезолиту Кандалакшского берега Белого моря и опосредованно южных районов Кольского полуострова, что позволяет предполагать их генетическую связь именно с данными областями. Взаимосвязи их с восточнофинляндскими окончательно не изучены, но родственность маловероятна¹⁶.

Мезолит в бассейне Онежского озера представлен значительным числом материалов, близость которых по всем существенным показателям позволяет объединить их в одну онежскую мезолитическую культуру. В нее органично входят «кварцевые и кварцево-сланцевые» и «кремневые» комплексы. Как самостоятельное сообщество (археологическая культура) она, безусловно, складывалась на месте с начала – середины 7 тыс. до н. э. в ходе адаптации к новым природным условиям мигрировавших на берега Онежского водоема групп близкородственного населения¹⁷.

Вопросы этнокультурной принадлежности онежского мезолита в полной мере могут быть решены в русле исследований данного круга проблем для известных культурных образований восточноевропейской лесной зоны. В настоящее время исходные для него культурные сообщества намечаются предположительно по сумме признаков сходства в материальной культуре. Наиболее тесными они оказываются с веретинскими, с комплексами на южном побережье Онежского водоема (вне границ онежской культуры), бассейна р. Шексны и позднебутовскими или производными от них бассейна Верхней Волги.

Онежские комплексы (в рамках «кремневого» мезолита) принято включать в круг постсвидерских, понимая их как отсегментовавшиеся части более ранней по времени бутовской или кундско-бутовской общности с единой свидерской основой, но также с участием некоторых западноевропейских и местных финальнопалеолитических элементов¹⁸. Существуют и другие мнения. Так, веретинскую культуру считают генетически связанной с североевропейскими круга маглемозе¹⁹. Окончательно не определена принадлежность шекснинских комплексов, при этом отрицается генетическая связь их и родственных им

по происхождению некоторых онежских с культурой кунда, но признается исходной для всех свидерская основа²⁰. Высказано мнение о сложении бутовской культуры на базе более ранних по времени рессетинских комплексов с основой в финальнопалеолитических памятниках Русской равнины и при небольшом числе свидерских элементов заключительного этапа существования²¹. Предполагают также, что распространенная на локальной территории палеолитическая свидерская индустрия не имела продолжения в бутовской культуре, свидероидные наконечники стрел, на основе которых главным образом устанавливается родство с ней восточноевропейских мезолитических культур, могут иметь независимое происхождение; близкие им формы есть в финальнопалеолитических материалах Русской равнины²².

При всем многообразии мнений на истоки и механизмы сложения раннемезолитических культур в восточноевропейской лесной зоне, южные-юго-западные направления их связей признаются всеми исследователями. По-видимому, эти культуры действительно складывались в процессе консолидации разных групп верхнепалеолитического населения, возможно, родственных по каким-либо признакам, например, по принадлежности к большой европеоидной расе. Необходимо выяснить долю участия каждой из групп, определивших, в конечном итоге, генезис нового образования. Более поздние по времени формирования культуры северных областей Восточной Европы, в частности онежская, отражают продолжавшийся процесс освоения новых территорий в послеледниковое время. Насколько можно судить по имеющимся данным, исходными для нее послужили группы населения культурных образований из приграничных областей к югу-юго-востоку, но не восточнее бассейна р. Онеги и не южнее бассейна Верхней Волги. Этот вывод подтверждается отсутствием аналогов в материалах средневичегодской²³, камской и усть-камской культур²⁴. По-видимому, следует исключить западные-юго-западные территории, если исходить из отсутствия черт сходства с культурой кунда, иеневской и привалдайской.

Веским аргументом в пользу предположения об этнокультурных связях онежского мезолита с определенным кругом культур бассейнов Верхней Волги и р. Онеги и опосредованно с финальнопалеолитическими культурными образованиями Русской равнины являются заключения о принадлежности погребенных в Оленеостровском могильнике к ранним недифференцированным типам в рамках европеоидного расового ствола²⁵. В отличие от мнений других исследователей, признающих среди погребенных наличие форм азиатского круга и метисных²⁶, они более всего согласуются с материалами онежской культу-

ры, населению которой, несомненно, принадлежал некрополь. Проникновение монголоидных типажей в северные области Восточной Европы большинство антропологов относят к намного более позднему, чем мезолитическое, времени. В этих областях и в Карелии первое появление восточных элементов материальной культуры, которые ретроспективно можно связывать с культурами предков финноязычных народов, согласно археологическим данным, фиксируется не ранее начала железного века²⁷.

Вопросы смены культуры мезолита на неолитические разрабатывались в предварительном плане лишь для района бассейна Онежского озера. Выяснилось, что как самостоятельная этнокультурная единица онежская культура не имела продолжения. Материалы свидетельствуют о явном упадке во всех сторонах жизни общества в финальную стадию на рубеже 6–5 тыс. до н. э., об отсутствии ресурсов для дальнейшего развития. Общество было не готово к назревшим качественным преобразованиям в индустрии камня и к восприятию новаций. Хронологически на этой территории ему наследовало новое культурное образование, сложившееся в результате появления нового населения – носителей керамики сперрингс. Вопрос о культурной преемственности основанной ими культуры от мезолитической решается, таким образом, отрицательно. Немногочисленное местное население оказало незначительное влияние и было поглощено пришельцами, уже владевшими керамическим производством и неолитической техникой и технологией в индустрии камня. Смена населения, однако, не означает кардинальной смены антропологического типа. По данным антропологов²⁸, носители верхневолжской раннеолитической керамики, с которой большинство исследователей связывают происхождение керамики типа сперрингс, принадлежали к европеоидному расовому стволу.

В ходе сравнительного изучения онежских мезолитических комплексов и сопровождающего неолитическую ямочно-гребенчатую керамику каменного инвентаря выяснилось наличие значительного по продолжительности (минимум 700 лет) временного разрыва. Каменная индустрия культуры ямочно-гребенчатой керамики характеризует развитую стадию неолита и не имеет истоков в мезолитической в бассейне Онежского озера. В Карелии ее появление обеспечил поток нового населения со своими традициями во всех сторонах жизни. Взаимосвязи его с населением культуры сперрингс до конца не выяснены, но в области каменной индустрии культурная преемственность отсутствует. Не исключается смена физического типа, но гипотеза о «лапоноидности» населения макрокультуры с ямочно-гребенчатой системой орнамента керамики²⁹ явно противоречит существующим представлениям о месте ее сложения и территории

распространения. Вероятнее всего (если иметь в виду данные сравнительного языкознания, антропологии и археологии по более поздним эпохам), это произошло не в рамках уральской языковой семьи и монголологизированных сообществ, то есть вне среды, послужившей основой для исторических этносов финно-угорской языковой семьи.

¹ Рыбаков С. Е. Этничность и этнос // ЭО. 2003. № 3. С. 3–24; Белков П. Л. О методе построения теории этноса; Анфертьев А. Н. Прологомены к изучению этнической истории // Этнос и этнические процессы. М., 1993. С. 48–69.

² Косменко М. Г., Кочкуркина С. И. Вопросы истории населения древней Карелии // Археология Карелии. Петрозаводск, 1996. С. 362–385; Косменко М. Г. Основные проблемы и методики изучения древностей Карелии // Там же. С. 8–35; Напольских В. В., Наговицин Л. А. Заметки о «кризисе жанра» в финноугроведении: к методологии этногенетических исследований // Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов. Ижевск, 1990. С. 3–10.

³ Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Ч. 1, 2. Л., 1978; Денисова Р. Я. Проблема наличия монголоидного компонента в составе древнего населения Восточной Европы // Неолит лесной полосы Восточной Европы. Антропология Сахтышских стоянок. М., 1997. С. 42–54; Carpelan C. Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement of the European Nord-Possible Linguistic Implication. // MSFOu. Helsinki, 2001. P. 37–53; Nunez M. Old and new ideas about of the Finns and Saami // RPNE. 1998. 1. P. 151–160.

⁴ Ошибкина С. В. Веретье 1. М., 1997. 203 с.

⁵ Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Ч. 1: Мезолит. Л., 1978.

⁶ Carpelan C., Pärpola A. Emergence Contacts and Dispersal of Proto-Indo-European Proto-Uralic and Proto-Aryan in Archaeological Perspective // MSFOu. Helsinki, 2001.

⁷ Жилин М. Г. К вопросу о пионерном заселении южной Карелии и Финляндии в раннем голоцене // Вестник КГКМ. 2002. Вып. 2. С. 3–15.

⁸ Косменко М. Г. Многослойные поселения южной Карелии. Петрозаводск, 1992.

⁹ Кольцов Л. В. Варианты развития культурных общностей мезолита Северной Европы // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 52–56.

¹⁰ Ошибкина С. В. Указ. соч.

¹¹ Шахнович М. М. Древнейший этап освоения человеком территории Карелии и Финляндии в период поздне- и последнедевья (к постановке проблемы) // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 80–86.

¹² Matiskainen H. Studies on the Chronology Material Culture and Subsistence Economy of the Finnish Mesolithic (10000-6000 BP) // Iskos. 1989. № 8.

¹³ Schulz N. Suomen varhaismesolittiisen alkuperästä // Muinastuikija. 1998. № 4.

¹⁴ Шахнович М. М. Памятники эпохи мезолита в Фенноскандии (провинция Кайну) // ТАС. 1998. Вып. 3. С. 147–157.

¹⁵ Luho V. Die Suomusjärvi-kultur // SMAFFT. Helsinki, 1967.

¹⁶ Филатова В. Ф. Мезолитические памятники Карельского побережья Белого моря // Природное и культурно-историческое наследие Северной Фенноскандии. Петрозаводск, 2003. С. 120–123.

¹⁷ Она же. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск, 2004.

¹⁸ Кольцов Л. В., Жилин М. Г. Мезолит Волго-Окского междуречья. М., 1999.

¹⁹ Ошибкина С. В. Указ. соч.

²⁰ Косорукова Н. В. Памятники типа Андозеро М в бассейне Шексны // ТАС. 1998. Вып. 3. С. 162–167; Она же. Мезолитические памятники в бассейне р. Шексны // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 91–98.

²¹ Сорокин А. Н. Мезолит Жиздринского Полесья. М., 2002.

- ²² Желтова М. Н. Некоторые технико-морфологические особенности свидерской индустрии // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 15–21.
- ²³ Волокитин В. А. Мезолит // Археология Республики Коми. М., 1997. С. 91–145.
- ²⁴ Косменко М. Г. Мезолит Среднего Поволжья // КСИА. Вып. 149. 1977. С. 94–100; Галимова М. Ш. Памятники позднего палеолита и мезолита в устье р. Камы. Мю-Казань, 2001.
- ²⁵ Якимов В. П. Антропологические материалы из неолитического могильника на Южном Оленьем острове // Сб. МАЭ. 1960. 19. С. 221–260; Алексеева Т. И. Неолитическое население лесной полосы Восточной Европы // Неолит лесной полосы Восточной Европы. Антропология Сахтышских стоянок. М., 1997. С. 18–41.
- ²⁶ Жиров Е. В. Заметки о скелетах из неолитического могильника Южного Оленьего острова // КСИИМК. 1940. Вып. 4; Беневоленская Ю. Д. Расовый и микроэволюционный аспекты краниологии древнего населения Северо-Восточной Европы // Балты, славяне, прибалтийские финны: этногенетические процессы. Рига, 1990; Гохман И. И. Оленеостровский могильник на Онежском озере как источник расогенеза населения Северо-Запада России и Фенноскандии // Междунар. конф., посвященная 100-летию со дня рождения проф. В. И. Равдоникаса: Тез. докл. СПб, 1994. С. 53–54.
- ²⁷ Косменко М. Г. Археологические культуры периода бронзы-железного века в Карелии. СПб, 1993; Манюхин И. С. Происхождение саамов. Петрозаводск, 2002.
- ²⁸ Алексеева Т. И. Указ. соч.
- ²⁹ Алексеева Т. И., Крúc С. И. Древнейшее население Восточной Европы // Восточные славяне: антропология и этническая история. М., 2002. С. 254–278.

© С. И. Кочуркина
Петрозаводск

Древние карелы в финляндских исследованиях*

Финляндские исследователи внесли существенный вклад в создание источниковой базы для изучения этнокультурной истории древних карел. Археологические памятники раннего средневековья на Карельском перешейке стали известны благодаря работам Петтера Теодора Швиндта (1851–1917). Будучи уроженцем Ряйсяля (ныне пос. Мельниково) с самого начала своей деятельности он увлекся исследованием истории родного края. В 1893 г. стал куратором Археологической комиссии и руководил вначале археологической, а затем этнографической секцией, координируя собирательскую работу Выборгского студенческого союза и этнографического музея. В 1891 г. проводил раскопки в крепости Кякисалми (современный Приозерск). Во время путешествия по Карелии собрал богатый материал, частично вошедший в его работы по крестьянским костюмам и карельской вышивке. Его этнографический опыт и глубокие знания в этой области сказались на высоком для того времени качестве

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 04-01-00049а.

публикации материалов окарельских могильниках¹. Но в финляндской литературе в свое время она не получила признания, хотя, по словам К. А. Нордмана², ни до, ни после Т. Швиндта, а мы добавим и до сих пор, таких обширных раскопок не производилось. Немаловажная работа проделана исследователем по сбору случайных находок, сохраненных его усилиями для науки. Эти находки – иногда единственные упоминания о некогда существовавшем памятнике. Докторский труд исследователя значителен по кругу освещенных вопросов: довольно подробное описание погребальных обрядов и материальной культуры, мужской и женской одежды, хозяйства и верований. Вопрос о происхождении культуры и ее связях с окружающими регионами Т. Швиндтом не разрабатывался, за что его упрекали современники. С сегодняшних позиций эти потери не кажутся катастрофическими: публикация памятников сохранила свою значимость и пережила многие ранее выдвинутые гипотезы и теории.

Большие работы в Северо-Западном Приладожье или в Ладужской Карелии (имеются в виду территории по северо-западным берегам Ладоги и Карельский перешеек) проводил Отто Ялмар Аппельгрэн (1853–1937; с 1906 г. – Отто Ялмар Аппельгрэн-Кивало). Вся его жизнь была посвящена археологии и музейной работе: в 1884 г. – ассистент археологического и этнографического музея университета Гельсингфорса, затем – член Археологической комиссии, с 1915 по 1926 г. – государственный археолог. Его научные интересы формировались под непосредственным влиянием И. Р. Аспелина, в экспедициях которого (Прибалтика, Енисей) он принимал участие. Итогом таких поездок явилась публикация финно-угорских древностей. Вклад Я. Аппельгрэна как незаурядного художника, сделавшего рисунки к последней части издания, несомненен.

В 1877–1879 гг. Я. Аппельгрэн провел самостоятельные исследования в восточной части бассейна р. Кеми (губерния Лаппи) и издал материалы о находках и легендах, а затем опубликовал огромную и трудоемкую работу о фортификационных сооружениях (*muinaislinnat*) Финляндии, куда были включены и памятники Северо-Западного Приладожья³. В работе представлены планы и результаты проведенных им раскопок в Куркиёки (Лопотти), Хямеенлахти, Суур-Микли, Тиуринлинна (Тиверск) и впервые дано описание укрепленных поселений летописной корелы. Для того времени исследование можно считать образцовым с точки зрения изданного материала и сбора топонимической номенклатуры. К слову сказать, до сих пор археологи, в той или иной мере касающиеся в своих исследованиях древнекарельских памятников, пользуются схемами городищ, сделанных Я. Аппельгрэном, избегая трудоемкой работы по инструментальной съемке памятников.

Работу Т. Швиндта по изучению могильных древностей в Финляндии продолжил Аксель Олай Хейкель (1851–1924). В круг его интересов входили этнографические и археологические памятники Финляндии и России. С 1882 по 1899 г. Общество древностей (основа будущего Национального музея) посылало стипендиатов в Карелию для сбора археологических материалов и историко-искусствоведческих исследований карельской архитектуры. Инициатива исследования принадлежала А. Хейкелю. Под руководством И. Р. Аспелина им раскопан могильник у г. Миккели и опубликован материал, который не стал объектом его научных привязанностей – раскопки могильника не были закончены.

К. А. Нордман, анализируя этот период в финляндской археологии, видел причину такого состояния науки в слишком малом числе специалистов-археологов, которым приходилось заниматься многими делами, не имея возможности остановиться на детальной проработке научных проблем⁴. Специализация в финляндской археологии началась с деятельности А. Хакмана и Ю. Айлио.

Альфред Леопольд Фредрик Хакман (1864–1942) – крупнейший знаток древностей железного века. Эрудиция, понимание археологического материала, высокая требовательность к себе и научная добросовестность обеспечили долгую жизнь его трудам. Памятниками Северо-Западного Приладожья он не занимался, за исключением Тиуринлинна, в раскопках которого он принимал участие. Но для нас важна другая сторона его деятельности – работа над каталогом новых приобретений по железному веку Исторического и Национального музеев, регулярно печатавшихся им в журнале «Finskt Museum» с 1909 по 1925 г. Благодаря заботам А. Хакмана современные исследователи имеют представление обо всех случайных находках и раскопках в Северо-Западном Приладожье.

Аарне Элиас Европеус (1887–1971, с 1930 г. – Аарне Элиас Яюряпяя) известен высококвалифицированными публикациями по каменному веку Финляндии. Работы по эпохе железа эпизодичны: статьи по каменным крепостям и раскопки в 1920–1921 гг. могильника Лапинлахти на Карельском перешейке, не получившие развития в его трудах.

Диапазон научных интересов Аарне Микаэля Талльгрена (1885–1945) простирался вплоть до Сибири. Он прошел археологическую подготовку в Швеции, затем, заведя кафедрой археологии в Дерптском университете, организовал археологические исследования и охрану памятников в Эстонии, осуществил свою идею издания ежегодника «Eurasia Septentrionalis Antiqua», посвященного археологии Западной и Восточной Европы. И хотя кипучая деятельность не позволяла ему сосредоточиться на частных проблемах, он провел небольшие раскопки около Выборга и

Рауту (современное Сосново) и посвятил карельской тематике три обзорные статьи.

В плодотворной и разносторонней деятельности Карла Акселя Нордмана (1892–1972) видное место уделено проблематике железного века Карелии. К слову сказать, его вполне справедливо называли «*kiijoituspuu- taarkeologi*», то есть кабинетным археологом. Опубликованная им монография⁵ демонстрирует все лучшие качества ученого: знание огромного археологического материала, творческий подход к сложившимся мнениям, корректную форму критики. Высказанные К. А. Нордманом соображения о происхождении карел, их взаимоотношениях с Новгородом, о влиянии Новгорода на развитие карельской культуры оказались прозорливыми и прогрессивными на фоне некоторого застоя, царившего в финляндской литературе 40-х гг. XX в. Позднее он опубликовал несколько статей, посвященных некоторым памятникам древних карел.

С позиций требований современной археологии к фиксации процесса археологических работ удивляет быстрота проводимых полевых исследований финляндскими археологами. Например, Т. Швиндт на исследование крепости Корела в 1891 г. потратил три рабочих дня, А. Европеус раскапывал могильник с трупосожжениями в 1920 г. пять дней, Э. Кивикоски исследовала могильник Патья в 1938 г. четыре дня (30 погребений!), в Нукутталаhti – два дня⁶. Отсутствие планомерных археологических работ в 20-х гг. XX в. в Северо-Западном Приладожье тормозило накопление материала. Обычная практика выявления древностей в то время осуществлялась через проверку сведений, поступивших от местных жителей. Лишь в конце 30 – начале 40-х гг. исследованиями Эллы Кивикоски (1901–1990), специалиста по археологии Фенноскандии, внесен существенный вклад в изучение и публикацию древностей Северо-Западного Приладожья. Ею раскопаны погребальные памятники в районе Сортавала и в Саккола-Патья (Ольховка), а также курганы на Олонецком перешейке. К числу заслуг исследовательницы нужно отнести доброкачественную по сравнению с материалами 20-х гг. полевую документацию. Э. Кивикоски выполнила грандиозную работу по созданию каталога древностей Финляндии и Северо-Западного Приладожья⁷. В итоге к началу 1939 г. в археологических коллекциях Национального музея (г. Хельсинки) третья часть приходилась на изделия из Северо-Западного Приладожья и около 40% – на предметы каменного века, найденные в Карелии⁸.

Раскопки археологических памятников в юго-восточной Финляндии, в районе г. Миккеля проводили С. Пяльси, В. Варесмаа, Э. Сарасмо, Ё. Леппяхо. Их материалы были обработаны П.-Л. Лехтосало-Хиландер⁹.

В 70-х гг. XX в. в Северо-Западном Приладожье отрядом Института археологии АН СССР (теперь ИИМК РАН) под руководством А. Н. Кирпичникова осуществлены раскопки крепости Корела и разведочные работы в Тиверске¹⁰. С 1970-х гг. и по настоящее время археологические работы ведутся под руководством С. И. Кочкуркиной. За этот период изучались объекты с топонимами «линнавуори» и «линнамяки», вскрыты большие площади (около 3000 м²) на городищах Тиверск, Куркиёки-Лопотти, Соскуа, Паасо, исследованы могилы островов Риеккала и Мантсинсаари¹¹. В опубликованных книгах представлены важные результаты полевых исследований, проанализирована богатейшая материальная культура с привлечением данных естественно-научных дисциплин, охарактеризованы письменные источники и топонимические свидетельства, раскрывающие многообразный историко-культурный фон, на котором происходило зарождение и формирование древних карел.

Большой вклад в создание источниковой базы Северо-Западного Приладожья внес А. И. Сакса, опубликовавший результаты исследования на финском языке¹². Наиболее результативные полевые исследования осуществлены в Кууппала – Калмистомяки в 1985–1987, 1995 гг. (вскрыто более 500 м²). На исследованной территории выявлены культурные слои эпохи неолита и раннего металла, 25 погребений X–XV вв., а также предметы из разрушенных погребений. На городище Хямеенлахти А. И. Сакса в 1987 г. исследовал средневековый слой на площади 52 м². Им раскопан также комплекс Ольховка (169 м²), состоящий из селищ, ритуальных куч и жертвенных камней. При археологических исследованиях территории древней крепости Корела на рубеже 80–90-х гг. XX в. (раскопки А. И. Саксы и П. Уйно) обнаружены строительные остатки, существовавшие на острове до возведения крепостных сооружений, и предположительно следы разрушенных погребений VIII–XIII вв., которые позднее были уничтожены при строительных работах. Территорию Выборгской крепости и ее окрестностей в 1980-х гг. изучал А. В. Тюленев, на рубеже XX–XXI вв. – А. И. Сакса. В последние два десятка лет новых средневековых памятников почти нет. Не увеличилось число древностей I тыс. н. э., что негативно сказывается, к примеру, на решении вопросов происхождения древних карел. Однако археологи вновь и вновь возвращаются к изучению древностей Северо-Западного Приладожья и анализу узловых, все еще нерешенных проблем этнокультурной истории древних карел.

Ю. П. Таавитсайнен¹³ в работе о древних крепостях Финляндии лишь перечислил 25 крепостей Северо-Западного Приладожья, упомянутых в конце XIX в. Я. Аппельгреном, но позднее¹⁴ специально останавливается на древних карельских крепостях и подчеркивает трудности, связанные с

их классификацией, поскольку сооружались они с разными целями, датированием, так как вещественные доказательства порою скудны и противоречат радиоуглеродным датам, и разным предназначением. Не верит он в былые мифы, согласно которым линнавуори, расположенные в пределах видимости друг друга, передавали информацию с помощью сигнальных костров, что было доказано опытным путем. Ю. П. Таавитсайнен не согласен с распространенным в литературе мнением, что крепости предназначались для защиты населения со всем его имуществом и скотом. Такое переселение в боевой обстановке на крутые возвышенности, по его мнению, связано с большим риском быть сразу всем уничтоженным врагом. Он предполагает, что населению легче было укрыться в лесу, на отдаленных островах и т. д. Но эти рассуждения идут от здравого смысла современного человека и вряд ли адекватны действиям населения в эпоху средневековья.

В 1997 г. вышло археологическое исследование о древней Карелии¹⁵, в котором обобщены все имеющиеся археологические источники по этой теме, приведены различные точки зрения на спорные вопросы. К числу несомненных заслуг П. Уйно можно отнести богатый картографический материал. Ей удалось нанести на топографические карты не только существенно важные археологические памятники, но и случайные находки, что российским исследователям по известным причинам сделать было трудно или почти невозможно. Несомненным достоинством книги являются приложения, в первую очередь, каталог памятников и перечень основных археологических предметов с инвентарными номерами их хранения в Музейном ведомстве (г. Хельсинки). Основные позиции исследовательницы изложены и в коллективной работе «Karjalan synty». Книга написана в научно-популярной форме, рассчитанной на массового финского читателя. По этой причине особо акцентируется внимание на вкладе финляндских археологов в историю исследования иногда в ущерб заслуг и приоритета российских исследователей.

Научную ценность представляет раздел Х. Симола¹⁶, впервые наиболее полно рассказывающий о карельской природе и людях: о растительном и животном мире, о новых палеоэкологических исследованиях в Северо-Западном Приладожье и Карелии. К сожалению, остается неразработанной методика использования данных естественно-научных дисциплин в археологических исследованиях. Проведенные палеоэкологические исследования в районе Сортавала, Куркиёки, Хийтола, на Валааме, Карельском перешейке показали наличие земледелия в I тыс. н. э., но синхронные археологические свидетельства присутствия населения в этом районе отсутствуют. Боль-

шую ценность представляет диалектологический обзор, в то время как топонимические данные почти не использованы, несмотря на фундаментальные разработки в этой области исследователей Финляндии. Для археологов важны результаты осуществленного недавно в Музейном ведомстве остеологического анализа на материалах археологических памятников¹⁷. Исследование далеко не бесспорное, но, безусловно, перспективное.

-
- ¹ Schwindt T. Tietoja Karjalan rautakaudesta // SMYA. 1893. № 13.
² Nordman C. A. Archaeology in Finland before 1920. Helsinki, 1968. S. 43.
³ Appelgren Hj. Suomen muinaislinnat // SMYA. 1891. № 12.
⁴ Nordman C. A. Archaeology in Finland... S. 45.
⁵ Idem. Karelska järnåldersstudier // SMYA. 1924. № 34.
⁶ Karjalan synty. 1. osa. Jyväskylä, 2003. S. 135.
⁷ Kivikoski E. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. Helsinki, 1973.
⁸ Karjalan synty. S. 137.
⁹ Lehtosalo-Hilander P.-L. Rautakautinen Mikkelin seudulla // Kalmistojen kertomaa. Rautakautinen Mikkelin seutu idän ja lännen välissä. Mikkeli, 1994.
¹⁰ Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984.
¹¹ Кочуркина С. И. Археологические памятники корелы (V–XV вв.). Л., 1981; Она же. Древняя корела. Л., 1982.
¹² Saksa A. Rautakautinen Karjala. Joensuu, 1998.
¹³ Ancient Hillforts of Finland // SMYA. 1990. № 94.
¹⁴ Taavitsainen J.-P. Karjalan muinaislinnat // Karjalan synty. S. 432–434.
¹⁵ Uino P. Ancient Karelia. Helsinki, 1997.
¹⁶ Simola H. Karjalan luonto ja ihminen // Karjalan synty. S. 81–107, 110–115.
¹⁷ Hedelin H. Osteologisk analys av material från finska Karelén, nuvarande Ryssland, Museovirasto. Käsikirjoitus, 2000.

© А. Ю. Тарасов
Петрозаводск

Энеолитическая индустрия каменных макрорудий Карелии в ряду европейских индустрий позднего каменного века

Эпоха позднего каменного века в человеческой истории знаменательна тем, что в это время была создана технологическая база для запуска тех процессов, которые позже привели к образованию стратифицированного общества и государства. Эта особенность отмечена в концепции «неолитической революции», предложенной Г. Чайлдом. Безусловно, она не может быть в одинаковой степени применима ко всем неолитическим культурам, поскольку основным в ней является распространение производящих форм хозяйства. В Карелии, например, они не были известны вплоть до средневековья. Тем не

менее важные элементы технологии, хозяйственной и социальной организации человеческих обществ, зарождавшиеся в сельскохозяйственных районах Азии и Западной Европы, были характерны и для неолитических культур Северной Евразии, включая Карелию. Наряду с керамической посудой одним из таких элементов является массовое использование таких крупных каменных орудий с рубящими функциями, как топоры, тѣсла, желобчатые тѣсла и долота, то есть макроорудия.

Большинство явлений, затрагивающихся в этой работе, в той или иной мере имели место уже в мезолите¹. Главным отличием тех индустрий, о которых пойдет речь, является, скорее, их масштаб, тесно связанный с масштабом экономической (и социальной) активности создавших их обществ и приведший к тому, что эти индустрии стали одним из факторов и направлений усложнения самой общественной организации.

Здесь можно было бы рассмотреть очень большое количество таких индустрий², однако мы остановимся только на трех примерах, которые были подробно охарактеризованы в качестве не только производственного, но и социального явления. Это индустрии на территории Эльзаса во Франции (4600–3700 лет до н. э., культура шаровидных амфор), на территории Англии (4000–2500 лет до н. э., культуры Уиндмилл-Хилл, питербору, райнио-клектон) и Южной Скандинавии (4000–2350 лет до н. э., культура воронковидных кубков).

В развитии индустрии в Эльзасе выделяются две фазы. Во время первой, до 4200–4100 лет до н. э., сырье добывалось в поверхностном слое земли. Первичная оббивка производилась на месторождении, однако в целом форма изделия создавалась уже на постоянных поселениях с помощью техник пикетажа и шлифования, что не требовало высокой квалификации мастеров, но одновременно означало большие затраты времени на изготовление одного орудия. Объем производства оставался небольшим, обмен развития не получил³.

На втором этапе сырье начинают добывать из глубоких шахт. Согласно оценке авторов исследования, из них было извлечено 40 000 м² породы, что потребовало 80 000 человеко-дней работы в течение 400 лет⁴. Такое сырье позволяло более успешно применять технику расщепления для создания формы орудия. Благодаря этому сократилось время, необходимое для изготовления одной вещи. Однако одновременно такой подход резко повысил требования к мастерам, которым, во-первых, требовалось тратить больше усилий на добычу сырья, во-вторых, был необходим более длительный период обучения.

Вокруг каменоломен в виде концентрических кругов располагаются мастерские, на которых отобранные куски сырья приобретали законченную форму (на расстоянии одного дня пути), и поселения, на которых производилось шлифование поверхности удачных заготовок (на расстоянии двух дней пути). Очень важно, что наряду с постоянными земледельческими поселениями здесь также возникают укрепленные enclosures, которые обычно считаются местами для встречи отдельных общин, церемоний и обмена. Подобная специализация стоянок интерпретируется как свидетельство интенсификации обмена как внутри данной территориальной группы, так и с удаленными территориями – изделия из мастерских Эльзаса обнаружены на территории от Бургундии на западе до Цюриха на востоке⁵. Более того, каменные топоры очень часто встречаются в инвентаре курганных захоронений и в складах, причем в них есть вещи, изготовленные в разных мастерских⁶. Следовательно, каменные топоры стали объектом накопления.

В Англии в течение неолита возникает целый ряд центров изготовления топоров. Масштабы производства в свое время позволили исследователям говорить о них даже в терминах капиталистической эпохи⁷. В течение раннего неолита, до 3300 лет до н. э., ведущими являются центры, расположенные на юго-востоке страны. Здесь сооружаются шахты для добычи кремня, рядом с которыми располагаются мастерские, а также enclosures. Все вместе они находятся по краям районов земледельческого освоения, то есть топоры играли важную роль в ходе церемоний, проходивших в enclosures, включавших обмен между соседними общинами⁸.

В позднем неолите большинство шахт на юге перестают эксплуатироваться. Меняют свою природу enclosures, превращаясь в постоянные укрепленные поселения. Индивидуальные курганные захоронения, редкие в раннем неолите, становятся обычными, и их инвентарь составляют в основном вещи, изготовленные в удаленных районах⁹. Именно в этот период достигают высшего уровня развития окраинные центры, в том числе в Кумбрии на северо-западе страны. Сложившаяся здесь индустрия основывалась на месторождениях мелкозернистого туфа. Во второй половине IV тыс. до н. э. происходят изменения в технологии. Несмотря на то что тип изделий не меняется («топоры группы VI»), анализ отходов производства показывает, что на ряде мастерских применяется более квалифицированная работа, которая выражается в большей точности, аккуратности, небольшой частоте ошибок расщепления¹⁰. В это же время продукция мастерских Кумбрии распространяется почти по всему острову. Р. Брэдди и М. Эдмондс, подробно изучившие эти процессы, считают, что в позднем

неолите резко увеличилось значение обмена престижными и экзотическими вещами в южной Англии в связи с усложнением местного общества. В данной ситуации экзотический материал – туф – делал топоры из Кумбрии более ценными, чем местные кремневые изделия¹¹.

Исследователи, занимавшиеся этими примерами, делают два сходных вывода. Во-первых, в рамках данных индустрий складывается специализация, вызванная интенсификацией обмена. Во-вторых, способность накапливать каменные топоры и контролировать их обмен стала одним из факторов, способствующих увеличению социального «веса» отдельных индивидов, то есть одним из факторов формирования элит¹².

Немного иначе развивается индустрия в Южной Скандинавии. Она основывалась на местных запасах высококачественного кремня, для разработки которых уже в раннем неолите строились шахты¹³. Параллельно происходили изменения в технологии. Здесь начинает применяться так называемый четырехсторонний метод обработки, с помощью которого изготавливаются топоры с четырехугольным поперечным сечением. Эта технология является весьма сложной, состоящей из нескольких стадий и требующей высокого уровня подготовки мастеров. В связи с этим потенциально она могла привести к становлению специализации как социально значимого явления¹⁴. Тем не менее имеющиеся данные такого предположения не подтверждают. Мастерские, расположенные вблизи источников сырья, содержат только заготовки начальных стадий, в то время как большая и наиболее сложная часть работы происходила на постоянных поселениях («фермах»). При этом объем производства не превосходил потребности отдельных хозяйств. Подавляющее большинство четырехгранных топоров не демонстрируют признаков профессиональной работы и являются весьма заурядными изделиями¹⁵.

Таким образом, несмотря на то что технология потенциально позволяла вступить на путь специализации и, следовательно, социальной дифференциации, так же, как это позволяло сделать регулярное накопление прибавочного продукта благодаря земледелию, общество культуры воронковидных кубков предпочитало такое развитие сдерживать. По мнению Л. Сундстрёма, это общество характеризуется намеренным усилением именно эгалитарной идеологии¹⁶.

Тем не менее полностью сдерживать его было невозможно. Обмен готовыми изделиями – топорами, фиксируется уже с раннего неолита. Кремневые топоры из Южной Скандинавии импортировались в центральные, а позже и в северные районы Швеции. Значительная часть их импортировалась в Норвегию¹⁷. Интересно отметить, что южноскандинавские кремневые изделия могли достигать Кольского полуострова¹⁸.

Кроме этого, выделяется группа топоров особо крупных размеров, которые становятся более многочисленными по мере удаления от производственного центра. Они встречаются в основном в контексте так называемых стоянок коллективных собраний, то есть, по мнению Л. Сундстрёма, являлись, скорее, коллективной, чем индивидуальной собственностью¹⁹. Вместе с тем они, несомненно, были изготовлены действительно квалифицированными мастерами-специалистами²⁰. Следовательно, в обществе все-таки возникли условия, позволяющие совершенствовать свое мастерство. Другое дело, что эта специализация оставалась индивидуальным достижением и не оформилась в социальный институт. В позднем неолите ту нишу, которую могла бы занять индустрия четырехгранных топоров, здесь заняла индустрия кремневых кинжалов²¹.

Можно отметить ряд черт, которые являются общими для всех трех примеров: 1) резкое увеличение масштабов добычи сырья и производства орудий; 2) поиск и разработка месторождений более качественного сырья; 3) усложнение технологии; 4) стандартизация; 5) изготовление значительной части изделий специально для обмена, в том числе с удаленными (вплоть до тысячи километров и больше) территориями; 6) возникновение условий для специализации и развитие такой специализации; 7) вовлеченность участников индустрии и производимых ими изделий в процессы социальной трансформации обществ позднего каменного века. Далее мы постараемся показать, что данные признаки были характерны и для энеолитической индустрии макроорудий на территории Карелии, точнее, южной половины Карелии (культура асбестовой керамики 2500–1600 лет до н. э.²²).

В энеолите Карелии макроорудия использовались столь же активно, что и раньше, изготавливались из местных пород – алевролитов и сланцев²³. Тем не менее ряд особенностей энеолитической индустрии все же делают ее уникальной для нашего региона.

Первая из них – качество используемого сырья. Носители неолитических культур использовали преимущественно сырье с низкими и средними показателями твердости, в то время как в энеолите отмечается очень строгая избирательность и использование почти исключительно очень твердого материала²⁴. Другой показатель – степень морфологической стандартизации (рис. 1). Наиболее часто встречающимися формами энеолитических макроорудий, доля которых показана на графиках, являются изделия с трапециевидным поперечным сечением и трапециевидные в плане.

Такие орудия известны в нашей традиции как орудия русско-карельского типа²⁵, а среди финских и эстонских исследователей – восточно-карельского типа²⁶. Они были изготовлены при использовании оригинальной технологии расщепления, наиболее сложной среди всех таких технологий, которые когда-либо применялись в Карелии. Для нее характерны, во-первых, стадийная последовательность расщепления, во-вторых, использование

приема, напоминающего «четырёхсторонний метод» культуры воронковидных кубков и так же, как и там, предполагающего применение удара через посредник²⁷. Здесь следует отметить, что для орудий этого типа характерна в целом более качественная абразивная обработка, несмотря на то что, чем тверже обрабатываемая порода, тем больших затрат труда и времени такая обработка требует (рис. 2). Наконец, они в среднем имеют наибольшие размеры²⁸.

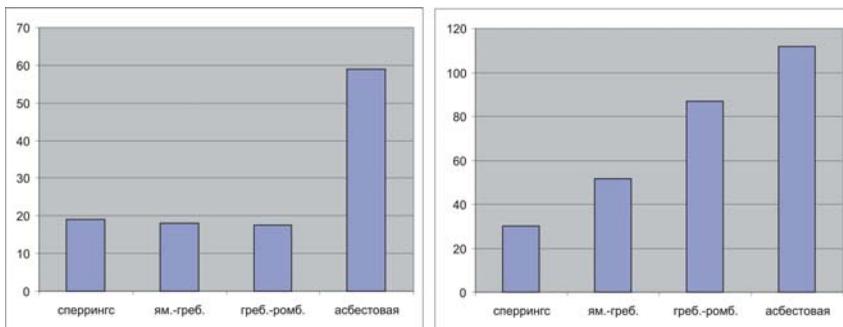


Рис. 1. Степень морфологической стандартизации макроорудий Карелии периода неолита – энеолита

Слева – доля наиболее частого сочетания формы макроорудий в сечении и в плане, % от общего количества целых изделий на памятниках культур неолита – энеолита. Справа – доля наиболее часто встречающейся формы сечения макроорудий, % от общего количества целых изделий

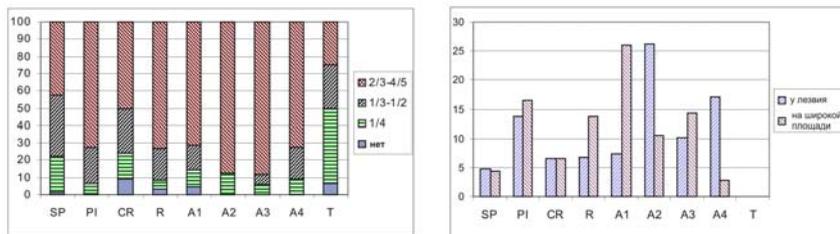


Рис. 2. Качество завершающей абразивной обработки макроорудий с памятников Карелии неолита – раннего железного века

Слева – распространение шлифовки по площади макроорудий (доля орудий с разной зашлифованной площадью, %). Справа – частота встречаемости полировки на макроорудиях, %:

Периоды: SP – сперрингс; PI – культура ямочно-гребенчатой керамики; CR – памятники с гребенчато-ямочной керамикой; R – памятники с ромбоямочной керамикой; A1 – памятники с асбестовой керамикой типа Войнаволок XXVII; A2 – памятники с асбестовой керамикой типа Оровнаволок XVI (ранней); A3 – памятники с асбестовой керамикой типа Оровнаволок XVI (поздней); A4 – памятники с асбестовой керамикой типа Палайгуба II; T – культуры сетчатой керамики и лууконсаари

Изготовление орудий происходило в специализированных мастерских, а не на постоянных поселениях. Эти мастерские впервые были описаны финскими археологами в первой половине прошлого века²⁹, однако вплоть до 90-х гг. не привлекали внимание исследователей. Находятся они в устье р. Шуя, на западном побережье Онежского озера. Обилие инвентаря, включающего сотни заготовок и десятки тысяч отщепов, позволяет утверждать, что в энеолите здесь существовал крупный центр по изготовлению каменных макроформ³⁰. Существенно, что на мастерских имеются свидетельства всех стадий обработки, в то время как на постоянных поселениях со срубными жилищами таких свидетельств нет³¹.

Выбор места для устройства мастерских мог быть обусловлен двумя причинами. Во-первых, близость источников сырья. Во-вторых, они находятся в стратегически выгодном месте. С одной стороны, изделия можно было легко транспортировать в пределах Онежского озера. С другой стороны, реки Шуя и Суна предоставляли возможность для их перевозки на запад, в сторону Ладожского озера и Финляндии.

У нас действительно имеются свидетельства обмена с населением удаленных территорий. Картографирование находок таких вещей на территории Финляндии и Эстонии было проведено В. Лухо в 1948 г.³² Подготовленная им карта очень показательна, хотя и устарела – орудия русско-карельского типа направлялись не только на запад, но и на восточный берег Онежского озера, в Вологодскую область, известны они в северной Карелии³³. Хотя у нас нет результатов петрографических анализов, типологический анализ свидетельствует, что эти вещи идентичны макроорудиям Карелии. Мы также можем сослаться на то, что ни в Финляндии, ни в Эстонии неизвестны месторождения такого сырья и мастерские такого рода³⁴.

Как показывает пример культуры воронковидных кубков, сложная технология и морфологическая стандартизация сами по себе не являются достаточными для возникновения специализации как социального института, сопровождающегося ограничением доступа к технологии. Тем не менее в нашем случае мы сталкиваемся именно с этим. Стандартизация на территории Карелии совпадает с прекращением производства макроорудий на постоянных поселениях. Вместо этого всему населению южной половины Карелии буквально «навязываются» изделия, изготавливающиеся в специализированных, удаленных производственных центрах (или даже всего лишь в одном таком центре).

Следовательно, очень вероятно, что изготовление макроорудий являлось делом относительно замкнутой группы людей, посвящавших этому занятию значительную часть своего времени и получавших за

это вознаграждение в виде части прибавочного продукта, накопленного сообществами охотников, рыболовов и собирателей, в значительной степени уже оседлыми. Считаю необходимым также отметить, что некоторые изделия русско-карельского типа вполне могут претендовать на роль «престижных» вещей. Интересно, что наиболее совершенное такое изделие, которое нам приходилось видеть, было найдено в Финляндии³⁵.

Таким образом, можно утверждать, что древнее общество нашего региона развивалось в том же направлении, что и неолитические общества земледельческих регионов Европы, то есть в направлении усложнения общественной организации.

¹ Филатова В. Ф. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск, 2004; Bengtsson L. Knowledge and Interaction in the Stone Age: Raw Materials for Adzes and Axes, Their Sources and Distributional Patterns // *Mesolithic on the Move*. Oxford, 2003. P. 388–394; Bergsvik K. A., Olsen A. B. Traffic in Stone Adzes in Mesolithic Western Norway // *Ibid.* P. 395–404; Fisher A. Exchange: Artifacts, People and Ideas on the Move in Mesolithic Europe // *Ibid.* P. 385–387.

² Гурина Н. Н. Древние кремнедобывающие шахты на территории СССР. Л., 1976; Она же. К вопросу об обмене в неолитическую эпоху // КСИА. 1974. Вып. 138. С. 12–23; Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа: Экономический очерк. М., 1953. С. 117–124.

³ Petrequin P. et al. From the Raw Material to the Neolithic Stone Axe: Production Processes and Social Context // *Understanding the Neolithic of North-Western Europe*. Glasgow, 1998. P. 297.

⁴ *Ibid.* P. 304.

⁵ *Ibid.* P. 297.

⁶ *Ibid.* P. 295–296.

⁷ Bradley R., Edmonds M. *Interpreting the Axe Trade: Production and Exchange in Neolithic Britain*. Cambridge, 1993. P. 43.

⁸ *Ibid.* P. 157–178.

⁹ *Ibid.* P. 179–199.

¹⁰ *Ibid.* P. 59–154.

¹¹ *Ibid.* P. 196, 200–206.

¹² Petrequin P. et al. *Op. cit.* P. 297–300; Bradley R., Edmonds M. *Op. cit.* P. 200–206.

¹³ Hogberg A. et al. The Spread of Flint Axes and Daggers in Neolithic Scandinavia // *Pamatky Archeologicke*. 2001. Vol. XCII, № 2. P. 190–201.

¹⁴ Hansen P. V., Madsen B. An Experimental Investigation of a Flint Axe Manufacture Site at Hastrup Vaenget, East Zealand // *Journal of Danish Archaeology*. 1983. Vol. 2. P. 43–59; Pellegrin J. Prehistoric Lithic Technology: Some Aspects of Research // *Archaeological Review from Cambridge*. 1990. Vol. 9, № 1. P. 123.

¹⁵ Olausson D. Lithic Technological Analysis of the Thin-Butted Flint Axe // *Acta Archaeologica*. 1982. Vol. 53; Olausson D. Talking Axes, Social Daggers // *Form, Function & Context: Material Culture Studies in Scandinavian Archaeology*. Lund, 2000. P. 125–126; Hogberg A. Production Sites on the Beach Ridge of Jaravallen: Aspects on Tool Preforms, Action, Technology, Ritual and the Continuity of Place // *Current Swedish Archaeology*. 2002. Vol. 10. P. 137–162.

¹⁶ Sundström L. *Det hotade kollektivet: Neolitiseringsprocessen ur ett Ost mellansvenskt Perspektiv*. Uppsala, 2003. P. 291–292.

¹⁷ Hogberg A. et al. *Op. cit.* P. 211–212, 216.

¹⁸ Гурина Н. Н. История культуры древнего населения Кольского полуострова. СПб, 1997. С. 98, рис. 49.

¹⁹ Sundström L. *Op. cit.* P. 293.

- ²⁰ Olausson D. Talking Axes... P. 126.
- ²¹ Apel J. Dagger's Knowledge and Power: The Social Aspects of Flint Dagger Technology in Scandinavia (2350–1500 cal BC). Uppsala, 2001. P. 113–125.
- ²² Жульников А. М. Энеолит Карелии: Памятники с пористой и асбестовой керамикой. Петрозаводск, 1999. С. 75–79.
- ²³ Журавлев А. П., Горлов В. И. Петрографическое изучение сланцевых орудий из археологических памятников Пегремы // СА. 1979. № 1. С. 245–248; Тарасов А. Ю. Изменения сырьевой базы индустрии макроорудий в неолите – раннем железном веке на территории Карелии // Российская археология. 2004. № 1. С. 79.
- ²⁴ Тарасов А. Ю. Изменения... С. 82.
- ²⁵ Брюсов А. Я. История древней Карелии // Тр. ГИМ. 1940. Вып. 9. С. 72; Филатова В. Ф. Русско-карельский тип орудий в неолите Карелии // СА. 1971. № 2. С. 32–38; Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Ч. 2: Неолит. Л., 1978. С. 6; Жульников А. М. Энеолит... С. 61.
- ²⁶ Suomen Historia. Helsinki, 1984. Vol. 1. P. 38; Крийска А., устное сообщение.
- ²⁷ Тарасов А. Ю. Центр изготовления каменных макроорудий энеолитического времени на территории Карелии // Археологические вести. 2003. Вып. 10. С. 60–74.
- ²⁸ Тарасов А. Ю. Изменчивость метрических признаков каменных орудий с поселений Карелии (неолит – ранний железный век) // Вестник КГМ. 2002. Вып. 4. С. 78.
- ²⁹ Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа... С. 246–247.
- ³⁰ Тарасов А. Ю. Центр изготовления...
- ³¹ Там же. С. 72.
- ³² Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа... С. 247; Гурина Н. Н. К вопросу об обмене... С. 15.
- ³³ Жульников А. М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного Беломорья. Петрозаводск, 2005. Рис. 158: 2; 180: 5, 12; 185: 2.
- ³⁴ Nunez M. Slates, the «Plastics» of Stone Age Finland // Occasional Papers in Archaeology. Third Flint Alternatives Conference at Uppsala. 1998. Vol. 16. P. 108–109; Крийска А., устное сообщение.
- ³⁵ Suomen Historia. P. 38.

© Н. В. Лобанова
Петрозаводск

Археологические исследования на Карельском берегу Белого моря (2003–2005 гг.)

Белое море – единственное внутреннее море России. Оно почти замкнутое, соединенное с океаном узким и неглубоким проливом. Наибольшая его длина (Канин Нос – устье Онеги) 580 км. Вдоль западного побережья расположено более 300 островов, сложенных древнейшими кристаллическими породами, часто куполообразной формы, с крутыми склонами. Во многих местах видны следы тектонической деятельности. Крупнейшие острова архипелага Кузова поднимаются над морем более чем на 100 м. В основном же вдоль Карельского и Поморского берегов тянутся низинные ландшафты. Современный рельеф Беломорья сформировался, согласно геологическим данным, около 2,5 тыс. лет назад¹.

Белое море давно привлекает серьезное внимание исследователей. С 1970-х гг. ведутся широкие научные работы по изучению и возобновлению его биоресурсов. В археологическом отношении Карельское побережье Белого моря и прилегающие районы до последних лет практически были белым пятном на карте Карелии. Правда, карельским краеведом И. М. Мулло в 1960-х гг. на архипелаге Кузова были выявлены загадочные каменные сложения и частично опубликованы материалы². Они имели близкое сходство с памятниками расположенного неподалеку Соловецкого архипелага.

В 1991–1992 гг. археологический отряд под руководством И. С. Манюхина занимался инвентаризацией памятников на архипелаге Кузова, но, к сожалению, она не была завершена, поскольку работы были непродолжительными и не охватили всей территории даже в пределах одного архипелага³.

В 2000–2002 гг. объектом внимания комплексной международной экспедиции (с участием карельских, норвежских и шведских археологов) по изучению природного и историко-культурного наследия по гранту Совета Министров северных стран стала Онежская губа Белого моря. Экспедицией было обследовано 14 островов и найдено не менее 60 различных каменных конструкций, в том числе предположительно основания саамских жилищ средневекового времени⁴.

В 2003–2005 гг. исследования в Карельском Беломорье приобрели более целенаправленный и углубленный характер. На средства упомянутого фонда были проведены археологические разведки совершенно неизученного района – Карельского берега, который тянется на расстоянии около 200 км к северу от устья р. Кемь⁵. Выяснилось, что научный потенциал территории чрезвычайно высок. Здесь было обнаружено 49 памятников: поселения с жилищами и местонахождения с кварцевыми предметами эпохи камня – раннего металла и разнообразные каменные сооружения, относящиеся предположительно к средневековому времени (рис. 1).

Существенный научный интерес представляют древние поселения в окрестностях бывшей дер. Соностров (в 60 км к югу от пос. Чупа) – Соностров I, III–VI. На них выявлены 32 разновременные жилищные впадины, в том числе расположенные цепочкой в один ряд⁶. Раскопки проведены на трех из них. Два жилых сооружения на поселениях Соностров I и IV связаны с эпохой позднего энеолита и могут датироваться рубежом III–II – началом II тыс. до н. э. Это были постройки подпрямоугольной формы с двумя выходами и очагами у выходов и в центре. Площадь одного из жилищ составляла 18 м² (рис. 2), другого – не более 12 м². В обоих случаях обнаружены одинаковые двухкамерные каменные очаги, не имеющие аналогов на территории Карелии. Находки, собранные в жилищах, в основном представлены кварцевыми орудиями и отходами их производства, а также фрагментами сосудов с примесью асбеста.

Жилое сооружение более раннего времени изучено на поселении Соностров V. Оно имело такую же форму, но несколько большую площадь – 24 м²; как и в предыдущих случаях, были прослежены два выхода и три каменных очага овальной формы. Частично разрушенный очаг в центре жилища содержал обломки фрагментов от одного ямочно-гребенчатого сосуда, отщепы кварца и крупные обломки кальцинированных костей животных. Кроме того, в заполнении жилищной впадины найдены изделия из кремня: наконечник стрелы, обломок ножевидной пластинки, отщепы кремня. Эти материалы можно уверенно датировать эпохой развитого неолита (второй половиной 4 тыс. до н. э.).

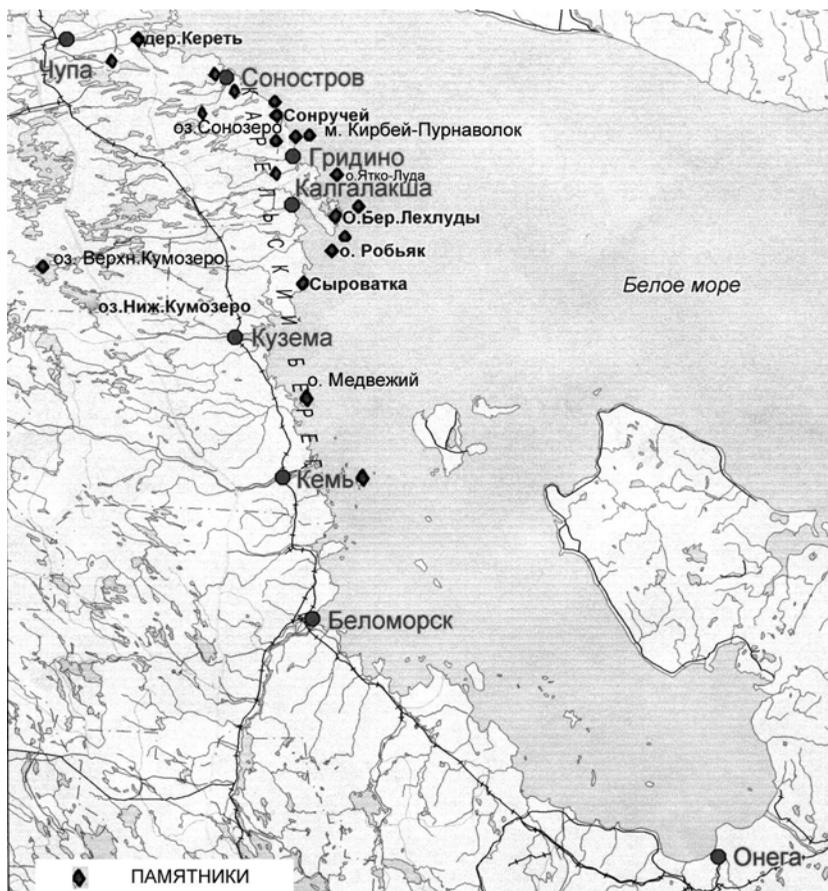


Рис. 1. Карта расположения археологических памятников на Карельском берегу Белого моря

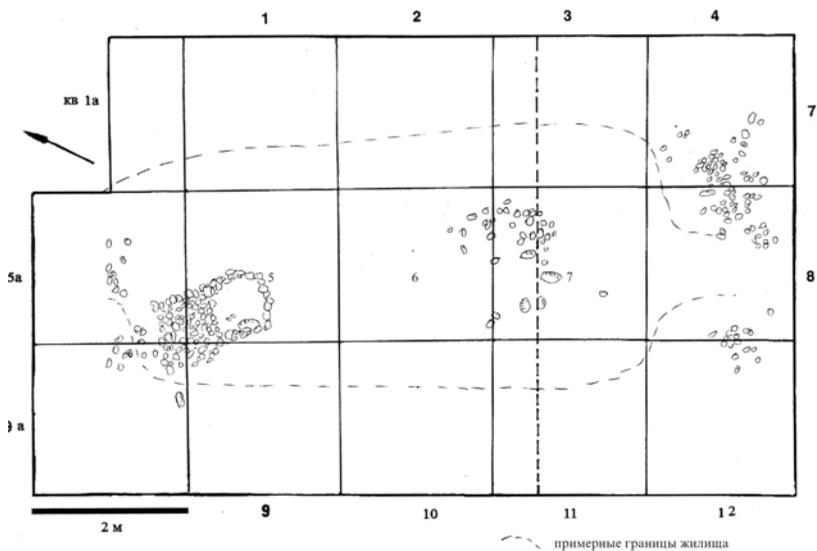


Рис. 2. Поселение Соностров I. План жилища с очагами и каменными кладками

На Карельском берегу (на островах и в прибрежной части) обнаружено большое число каменных сложений – куч, ям в моренных грядах, менгиров, различных сложных выкладок⁷. Назначение многих из них пока не выяснено.

Каменные насыпи очень широко распространены на всем беломорском побережье. Среди них выделяются овальные, подокруглые, подпрямоугольные или длинные, в виде стенок, скопления камней. В ряде случаев они являются погребальными сооружениями. На о. Бережные Лехлуды, Сонострове, на мысах Кирбей и Пурнаволок раскопаны пять могил с частично сохранившимися костяками. Могилы были сооружены по единому принципу. Умерших клали на голую скальную поверхность на открытом морском побережье, в выемку, обычно ориентированную в направлении запад – восток. Вокруг и сверху могила тщательно обкладывалась камнями и плитами. Датировка могил затруднена, поскольку погребальный инвентарь отсутствует. В одном случае сохранились кусочки бересты, в которую, по всей вероятности, был завернут погребенный. Степень сохранности костей указывает на позднесредневековый возраст. Близкие по конструкции саамские могилы изучены в северной Норвегии (Варангерфьорд, местечко Мортенснес)⁸.

На Соловках аналогичные валунные груды часто являются составными элементами лабиринтов. К настоящему моменту здесь раскопано более 20 из них, при этом установлен погребальный характер некоторых из них. Вместе с тем многие кучи не содержали признаков захоронений и признаются исследователями в качестве символических могил⁹.

Менгиры представляют собой плоские плиты (изредка валуны вытянутой формы) природного происхождения, поставленные вертикально и подпертые с двух сторон наклонными, более мелкими плоскими плитами. Последние, в свою очередь, упираются в валуны, кольцом охватывающие всю конструкцию. Их число в целом очень невелико, но сильно выросло за последнее время. Встречаются как одиночные сооружения (у мыса Кирбей, на островах Лоушко и Ятко-Луда), так и целые комплексы (Сыроватка, о. Большой Робьяк). Особенно впечатляющие менгиры на Большом Робьяке (рис. 3). Три прямоугольные гранитные плиты, расположенные недалеко друг от друга, высотой от 2,0 до 2,75 м были вкопаны в грунт и обложены валунами по периметру. Диаметры этих валунных насыпей составляют более 3 м. Назначение таких сооружений пока не ясно. Скорее всего, они могут рассматриваться как культовые.

На Карельском берегу распространены ямы различного диаметра и глубины, сложенные на сформированных ледником и морскими отложениями валунных грядках. Впервые они были кратко описаны И. М. Мулло¹⁰. Исследователь интерпретировал их как летние саамские жилища, не смущаясь их размерами. Большинство впадин имеют диаметр 1,5 м, изредка 2,0–2,5 м. И только в единичных случаях найдены ямы диаметром 3,0–3,5 м. Их глубина варьирует от 0,12 до 1,0 м, но чаще всего 0,6–0,7 м. Ямы занимают высоты от 2,5 до 15 м, в одном случае около 45 м над уровнем моря; часть их покрыта почвой либо кустарником и деревьями. Крупнейшее скопление (31 яма) находится на о. Лодейный, который относится к архипелагу Кузова. Подобные сооружения известны по всему ареалу обитания саамского населения, однако вопрос о назначении таких объектов неясен. Возможно, многие из них (расположенные неподалеку от берега моря) служили для хранения шкур тюленей или чего-то иного. Однако удивляет чрезмерная концентрация небольших ям на ограниченном пространстве (острова Лодейный, Жужмуй, Большой Заяцкий) или расположение отдельных впадин высоко и далеко от берега, в труднодоступных местах. Видимо, нельзя исключить и другие предположения, например, что ямы могли иметь культовый характер.

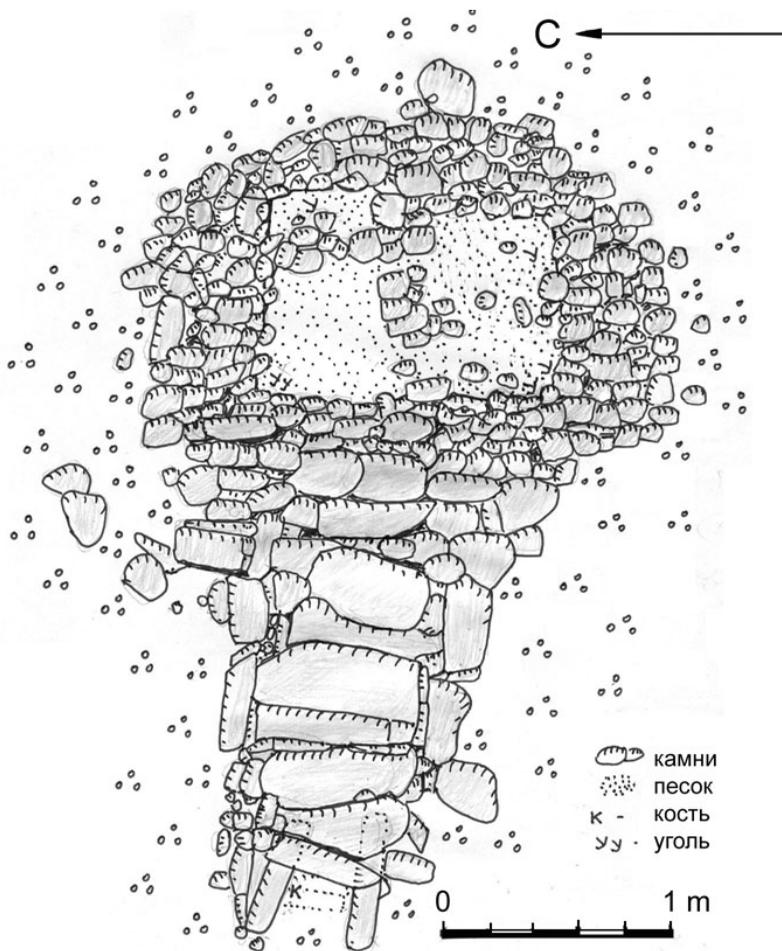


Рис. 3. Каменное сооружение у мыса Пурнаволок

Интересные сложения, так называемые каменные «ящики», обнаружены на о. Бережные Лехлуды, неподалеку от средневекового могильника. Их всего пять. Это прямоугольные конструкции. Они сделаны из уплощенных валунов или плит, поставленных вертикально и плотно друг к другу. Размеры сооружений разные: максимальный – 3,2×2,4, минимальный – 1,6×1,2 м, высота от 0,4 до 0,7 м. При расчи-

стке внутри одного сооружения выявлены углистые прослойки. Сходные конструкции с углистыми линзами известны также на Соловецком архипелаге¹¹.

К наиболее редко встречающимся конструкциям неустановленного назначения нами отнесены так называемые «укрытие» (о. Бережные Лехлуды) и «лаз» (мыс Пурнаволок).

«Укрытие» – прямоугольное сложение из огромных каменных валунов или блоков площадью 12–16 м² с входом в одной из коротких стенок. Особенно мощные блоки высотой более полуметра использованы при строительстве аналогичного сооружения на мысе Печак (о. Большой Жужмуй в Онежской губе Белого моря).

«Лаз» почти полностью зарос мхом и кустарником, поэтому в 2005 г. был раскопан (см. рис. 3). Это оказалась совершенно необычная и сложная конструкция из вертикальных плоских плит (длина 4,5, ширина 1,0–1,2 м) с верхним перекрытием. Камни на крыше хорошо подобраны и очень плотно уложены. Этот «лаз» (или проход) ведет к большой и глубокой, сложенной плитами и валунами яме прямоугольной формы (внутренние размеры 2,8×1,8 м, внешние 4,8×3 м) и глубиной более 1 м. При раскопках в проходе, недалеко от его начала, был найден маленький фрагмент кальцинированной кости, а в углах ямы на дне зафиксировано небольшое количество мелких угольков.

Таким образом, проведенные в 2003–2005 гг. археологические исследования позволяют в определенной степени закрыть белые археологические «пятна» Карельского берега Белого моря. Вместе с тем, учитывая обширность и труднодоступность территории, наличие еще необследованных озерно-речных систем, связанных с Белым морем, необходимо дальнейшее продолжение и углубление работ, особенно раскопки уникальных жилищ на Сонострове. Следует также установить характер и датировку многих неопознанных каменных объектов.

¹ Кошечкин Б. И., Девятова Э. И., Коган Л. Я., Пунниг Я. М. Последледниковые морские трансгрессии в Онежском Беломорье // Стратиграфия и палеогеография четвертичного периода Севера Европейской части СССР. Петрозаводск, 1977. С. 5–16.

² Мулло И. М. Памятники древней культуры на Кузовых островах // Археология и археография Беломорья. Соловки, 1984. С. 52–81.

³ Манюхин И. С. Проект зон охраны памятников археологии на островах Кузова в Кемском районе Республики Карелия. Петрозаводск, 1993; Манюхин И. С., Лобанова Н. В. Археологические памятники архипелага Кузова // Культурное и природное наследие островов Белого моря. Петрозаводск, 2002. С. 19–31.

⁴ Лобанова Н. В. Итоги и перспективы изучения археологических памятников Онежской губы Белого моря // Природное и историко-культурное наследие Северной Фенноскандии: Материалы междунар. науч.-практической конф. 3–4 июня 2003 г. Петрозаводск, 2003. С. 103–110.

⁵ Отчет Н. В. Лобановой о полевых работах в 2003–2004 гг. // Архив ИА РАН; Отчет М. Г. Косменко о полевых работах в 2003–2004 гг. // Архив ИА РАН.

⁶ Отчет Н. В. Лобановой...

⁷ Lobanova N. Muinaishistorian arvoituksia Vienanmerenrannikolla // Karjalan Kunnaat. 5–26.11.2003. С. 24.

⁸ Lars I. H., Bjornar O. Samenes historie fram til 1750. Oslo, 2004. S. 116–122; Schanche A. Graver i ur og berg. Samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid. Karasjok, 2000. S. 14–15; Idem. Mortensnes. A journey through 1000 years of cultural history. Varanger Sami Museum, 2002. S. 160–162.

⁹ Мартынов А. Я. Археологические памятники Соловецкого архипелага и других островов южной части Белого моря. Архангельск; Соловки, 2002. С. 38.

¹⁰ Мулло И. М. Указ. соч. С. 76.

¹¹ Мартынов А. Я. Указ. соч.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ»

© *И. А. Разумова*
Апатиты

Этнокультурная ситуация на Кольском Севере: проблемы, аспекты и методы исследования

Кольский Север в силу своего географического положения всегда был и остается поликультурным ареалом. Регион интересен с точки зрения практики длительного относительно мирного сосуществования различных этнических групп. Это следствие объективных факторов: социально-исторического (особенности процесса освоения и заселения края) и демографического (высокий процент мигрантов, высокий процент городского населения, полиэтничность). К автохтонному населению принято относить саамов и русских поморов, к более позднему «пришломому» населению – ижемских коми, численно преобладающих русских, а также представителей самых разных этносов России и республик бывшего СССР.

В настоящее время большинство населения региона проживает в малых индустриальных городах, которые создавались преимущественно в советский период в процессе научно-промышленного освоения края. Урбанизация осуществлялась быстрыми темпами и почти исключительно за счет мигрантов, что в свое время определило и продолжает определять демографическую и этнокультурную ситуацию в регионе. По итогам переписи 2002 г., городское население составило 824 тысячи человек, сельское – 69 тысяч¹.

Этнические сообщества Кольского Севера исследованы неравномерно. Интенсивнее изучалась саамская культура (прежде всего норвежскими и финляндскими учеными), в русской этнографии наиболее значительными продолжают оставаться труды Н. Н. Харузина², Т. В. Лукьянченко³ и коллективная монография о происхождении саамов⁴. И сейчас традиционный интерес представляют историко-этнографические и социологические исследования автохтонного населения.

На периферии исследовательских интересов долгое время оставались другие этносы и этнолокальные сообщества Кольского Севера, в первую очередь, русское старожильческое население края. Существует авторитетная традиция изучения истории и культуры поморов как субэтноса русских в целом, прежде всего труды Т. А. Бернштам⁵, а также описания традиций населения Карельского, Зимнего, Летнего и других берегов Белого моря. Поморы всегда привлекали особенное внимание фольклористов и лингвистов. Несмотря на это, мы пока располагаем недостаточным количеством исследований даже по традиционной культуре кольских поморов. Почти не проводились сравнительные исследования в этой области, мало внимания уделялось колонизации Мурманского берега поморами: истории возникновения и исчезновения рыбацких поселений. Тем более не становились предметом анализа современные этнокультурные процессы, протекающие в поселениях кольских поморов. Экспедиции ЦГП КНЦ РАН⁶ 2003–2005 гг. на Терский берег Кольского полуострова позволили начать исследование проблемы этнолокального самосознания современных терчан: основных дифференцирующих признаков, с точки зрения жителей («говор», факт рождения / проживания на Терском берегу, черты характера). Это дает возможности для сравнения кольских поморов с другими группами поморского населения и – шире – северных русских⁷. Особый аспект представляет проблематика, связанная с экономическими и культурными инициативами в отношении поморов Терского берега.

Еще одну исследовательскую перспективу историко-этнографического и социологического профиля представляет изучение ижемских коми, которые занимают особое и значимое место в этнической структуре Кольского Севера. Историко-этнографические труды по ижемским коми на Кольском Севере относятся к 20–30-м гг. XX в., когда велось активное изучение Карело-Мурманского края, и к 1980-м гг. – периоду проведения полевых исследований УрО Коми научного центра АН СССР. Не изучены пока вопросы взаимодействия саамов и коми-ижемцев, коми и русских на этапе урбанизации и многие др. Наиболее перспективны, на наш взгляд, исследования историко-культурной памяти смешанных коми-саамских, коми-русских и моноэтнических коми семей.

Представляет научный интерес изучение карельского населения Кольского Севера с точки зрения его исторических судеб, вовлеченности в этнические процессы, динамики этнического самосознания и современной культурной ситуации. Карелы Кольского полуострова ранее специально не изучались, но есть основание для гипотезы, что, по крайней мере, часть их могла представлять собой этнографическую группу или несколько групп, активно включенных в различные периоды в этнокультурные процессы на данной территории.

Настало время теоретического осмысления сложившихся на региональном уровне традиций и тенденций межкультурных взаимодействий и форм взаимной адаптации, а также роли локальных сообществ, социальных групп и микрогрупп (включая семейные) в формировании поликультурного пространства региона. Исследование этнокультурных процессов на Кольском Севере в XX – начале XXI в. и в исторической ретроспективе предполагает координацию историко-этнологического и социально-антропологического направлений исследований с тенденцией к их интеграции, использованию комплексных методик в изучении этнических и социальных процессов, истории и культуры Кольского Севера. В первую очередь, она связана с проблемами социокультурной адаптации населения к Крайнему Северу и межэтнических взаимодействий в регионе. Подавляющее большинство жителей края – горожане, мигранты в первом – третьем поколениях, представители различных этносов (при преобладании русских) и исходных территорий. В этой ситуации перед исследователями встает задача проведения комплексных исследований социальных практик и этнокультурных процессов в северных промышленных городах.

В последние годы при общем оттоке населения с северных территорий приток мигрантов ограничивается преимущественно «беженцами» и временными переселенцами из южных регионов России и республик бывшего СССР. Однако, судя по социологическим исследованиям, значительная часть молодого трудоспособного населения городов Кольского Севера не имеет устойчивых миграционных установок. У городского населения наличествует определенное локальное самосознание на уровне как региональной, так и поселенческой общности⁸.

В связи с этим важна разработка социально-антропологических аспектов проблем адаптации мигрантов к новому социальному, культурному, этническому окружению. Привлекательность либо отталкивающий потенциал территорий выбытия и прибытия всегда обусловлены комплексом факторов⁹. Немаловажен среди них и такой, как символический образ края, который транслируется межпоколенно. Он является основой формирования локальной идентичности сообществ «северян», жителей Крайнего Севера и / или определенного города.

Одним из существенных факторов стабилизации населения на Севере является признание места жительства «своим» как индивидами, так и группами, в частности, городскими сообществами. В настоящее время в Центре гуманитарных проблем Кольского НЦ РАН осуществляется комплексное исследование феномена локальной идентичности горожан Мурманской области и связанных с ним поведенческих практик¹⁰. В обычных условиях локальная идентичность проявляется в формировании определенной системы

ценностей и норм поведения жителей региона. Ее можно обнаружить в фольклоре, литературе, местной интерпретации истории страны и т. п.¹¹ Материалом для исследования данного феномена являются устные и письменные высказывания жителей, полученные в ходе интервьюирования, опросов, спонтанных бесед. Ценный источник представляют также литературные произведения, краеведческие и экскурсионные тексты, документы частного происхождения и многое др.

Локальная идентичность городского населения Кольского Севера основывается на комплексе общих признаков, связанных с историко-культурными и собственно пространственно-средовыми особенностями жизни сообществ. Ревизия устно-исторических семейно-биографических нарративов и письменных мемуаров демонстрирует, что значительная часть жителей осознает себя мигрантами и / или потомками таковых со сходными вариантами судеб. Нарративный материал обнаруживает несколько сюжетов, вокруг которых группируются истории семей. Во-первых, это история «спецпереселенцев», депортированных на Север при известных обстоятельствах в 1920–30-е гг.¹² В последние годы восстановление биографий репрессированных, высланных, раскулаченных и т. п. актуализировалось. Одновременно усилилось и осознание некой «общей судьбы» репрессированных семей при всей их социальной и этнической неоднородности.

Другая категория переселенцев, которых большинство, – «завербованные» на Север, то есть сделавшие свой выбор по причинам, связанным с неудовлетворительными условиями жизни, невостребованностью на прежнем месте. Для них Север оказался местом «спасения» или, по крайней мере, значительного улучшения существования.

Как известно, малые индустриальные города Кольского Севера создавались в советский период ускоренными темпами, вслед за разработками природных ресурсов и их промышленным освоением¹³. Идеи «покорения Севера», «преобразования (подчинения человеку) природы», «освоения территории» объединяют сообщества горожан на уровне историко-культурной памяти. Эта идея сохраняет актуальность в силу возраста городов, который в настоящее время совпадает с оперативной памятью локальных, профессиональных и семейных групп.

Существует устойчивая традиция репрезентации Севера в текстах разного рода, которая поддерживает групповое самосознание. Так, «экстремальность» зональных условий оказывается тем атрибутом, который повышает статус мигрантов и их потомков, отграничивая от живущих «на материке». Необходимость противостояния экстремальным, с точки зрения уроженца прочих территорий, средовым условиям создает специфическую идентичность «нового северянина». Кризисность физического существования ком-

пенсруется повышенной «духовностью» Севера и его жителей. Это устойчивый стереотип, требующий специального рассмотрения. В целом же «северный текст», несомненно, выполняет социально-интегрирующие функции, создавая коллективный образ северян как особого сообщества и в значительной степени сглаживая этнические различия.

Этот вывод отчасти подтверждает изучение так называемых новых диаспор в городах Мурманской области. Проведенное исследование «Кавказцы в представлениях жителей Кировско-Апатитского региона» позволило выявить основные стереотипы в отношении к представителям кавказских диаспор и ряд особенностей, отличающих отношение к этой категории мигрантов со стороны населения обследованного региона от настроений в некоторых других регионах России.

Известную автономию городских сообществ определяет их культурная дистанцированность от «коренных» жителей края. Для большинства урбанизированного населения относительно немногочисленные автохтоны представляются отдаленными во времени, пространстве, культуре. «Саамская» сюжетика в локальном кольском тексте имеет характер историко-этнографической информации; саамы и их культура – часть прошлой, «дикой», «неосвоенной» природной среды. Об этом свидетельствует, в частности, низкий уровень реальных знаний о традиционном быте аборигенного населения края. Согласно проведенному недавно в г. Апатиты социологическому исследованию, и молодые горожане, и люди среднего возраста имеют весьма расплывчатые представления об основных элементах материальной культуры саамов (отчасти, исключая лишь пищу), их языке, территории расселения и т. п.¹⁴ Традиции русского старожильского населения – поморов – известны в основном тем из горожан, кто связан с ним родственно, в противном случае знания эти имеют «музейный» характер или крайне скудны.

Именно для текста горожан характерна мифологема «притяжение Севера», типичны утверждения об особой «культурности» северян, их бескорыстии и духовности, сдержанности и уравновешенности характера, шутки о «замороженности». Эксплицированная в высказываниях бесконфликтность («спокойствие») на всех уровнях – от личностного до поселенческого – отчетливо связана с локальной символикой. Представление об этнической толерантности прочно ассоциировано с образом жителя Крайнего Севера (и Севера вообще). Данное обстоятельство можно рассматривать в качестве значимого фактора социальной стабилизации на региональном уровне.

¹ Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. М., 2003.

² Харузин Н. Н. Русские лопари. М., 1890.

³ Лукьянченко Т. В. Материальная культура саамов (лопарей) Кольского полуострова в конце XIX – XX в. М., 1971.

- ⁴ Происхождение саамов: По данным антропологии и археологии. М., 1991.
- ⁵ Бернштам Т. А. Поморы. Формирование группы и система хозяйства. Л., 1978; Она же. Русская народная культура Поморья в 19 – начале 20 в. Л., 1983.
- ⁶ Центр гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН.
- ⁷ Нахшина М. В. Поморы Терского берега: перспективы историко-культурного исследования // Этнокультурные процессы на Кольском Севере. Апатиты, 2004. С. 38–50.
- ⁸ On the problems of local identity and contemporary Russian «migratory text» (with reference to the Northwestern region of Russia) // Moving in the USSR. Western anomalies and Northern wilderness. Helsinki, 2005. P. 110–129.
- ⁹ Аарелайд-Тард А. Проблемы адаптации к новым культурным реалиям в зеркале биографического метода // Социологические исследования. 2003. № 2. С. 59–68; Бабышова И. М. Отношение местного населения к мигрантам // Там же. № 6; Юдина Т. О. О социологическом анализе миграционных процессов // Там же. 2002. № 10.
- ¹⁰ Исследования по данному проекту выполняются при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 05-06-97503 «Северный индустриальный город в эпоху трансформаций российского общества: социально-антропологические аспекты».
- ¹¹ Кувенева А. Е., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентичностей в порубежном регионе // Социологические исследования. 2005. № 7.
- ¹² Шашков В. Я. Спецпереселенцы на Мурмане. Мурманск, 2003; Тимофеев В. Г. История одной семьи. Кировск, 2004.
- ¹³ См., например: Киселев А. А. Социалистическая индустриализация Европейского Севера СССР (1926–1940). Л., 1975; Еремеева А. А. Начало строительства комбината «Североникель» (период до начала Великой Отечественной войны) в г. Мончегорске // Этнокультурные процессы на Кольском Севере. Апатиты, 2004. С. 79–100.
- ¹⁴ Исследование выполнено на кафедре философии и социологии Кольского филиала ПетГУ студенткой Т. Волковой под руководством И. А. Разумовой.

© К. Хейккинен
Йоэнсуу (Финляндия)

Национальность, пол, социальное положение исследователя и исследуемых – сложный комплекс факторов, влияющих на ход полевого этнографического исследования*

Рассмотрим сложную картину этнической принадлежности, социального положения и пола в контексте собирательской деятельности. Отправной точкой возьмем тезис рефлексивной антропологии о том, что исследователю следует осознавать собственное место в процессе исследования (Vuorela, 1999; Vakimo, 2001). Нас будет интересовать не столько сама этническая принадлежность, социальное положение или пол, сколько то, как эти факторы влияют на ход полевого исследования, которое считаем результатом совместной работы исследователя и информантов. Следует также заметить, что оценка исследователем себя основывается на индивидуальных фак-

* Перевод статьи с финского языка выполнен А. П. Конка

торах, но, главное, на групповых, так как этническая принадлежность, пол и социальное положение являются факторами коллективными.

По мнению А. Ненола, в фольклористике и этнографии, с точки зрения гендерных исследований, выделяются следующие важные вопросы: 1) каковы традиционные представления о женщине и мужчине или превращение половых признаков в репрезентативную величину; 2) какие из областей традиционной культуры и какие формы освоения традиции имеют половую специфику; 3) каковы женщины и мужчины в качестве исполнителей и манифестантов традиции; 4) какова роль женщины как женщины-исследователя в фольклористике и этнографии (Nenola, 1994). С. Вакимо добавляет еще возраст (Vakimo, 2001).

В процессе собирания фольклора присутствовала односторонность. Известно, что ранние собиратели рун с явным пренебрежением относились ко многим жанрам фольклора, которые были именно женским фольклором (например, к причитаниям). Во второй половине XIX в., когда фольклористика становится частью финской национальной идеи, высоко ценящееся пение рун ассоциировалось с мужчинами. Искали фигуры крупных рунопевцев-мужчин и находили. Их делали известными и возвышали даже тогда, когда, вероятнее всего, можно было бы найти столь же компетентных женщин-исполнительниц.

На более позднем этапе собирательской работы и расширении сферы научных интересов, когда многие фольклорные жанры стали объектами исследования, роль женского фольклора стала расти. Начали говорить о сохранении традиции, а не о сотворении ее. С точки зрения С. Вакимо, именно женщин видели в качестве хранителей и продолжателей традиций. Отмечалось, что женщины больше, чем мужчины, находились в кругу домашнего хозяйства, куда не доходили новые влияния, в отличие от более подвижного круга занятий мужчин. Считали, что мужчины быстрее, чем женщины, перешли в область рациональной научно-технической модернизации. Например, «исследователи-мужчины представляли дело так, что мужчины привозили из поездок инновации для сохранения их женщинами дома» (Vakimo, 2001. S. 33–34, 36). Одновременно возник вопрос о феминизации традиции. Хочется спросить не представляется ли то, что называют народной традицией, с точки зрения мужского и женского начал, некой анонимно созданной культурой, у которой нет активных имеющих половые различия создателей.

Собственно говоря, именно старые женщины стали по большей части представлять «голос народа» (Vakimo, 2001. S. 24–34). Поиски «старых» определяли во многом собирание традиционных знаний, как и сбор материала по более широким программам. По мнению С. Вакимо, можно прямо говорить о некоей возрастной цензуре, которую исследователи приме-

няли во время своих собирательских поездок, пытаюсь найти самых пожилых информантов (Vakimo, 2001. S. 25).

С. Вакимо предостерегает от такой позиции, когда в старых женщинах видят прежде всего память поколений. Она приводит совершенно иную точку зрения и особо подчеркивает мысль, по которой культуру и образ жизни пожилых следовало бы рассматривать как самостоятельную культуру определенного возрастного периода. Тогда бы она могла быть сравнима, например, с молодежной культурой. В таком случае она была бы по своему характеру частью современной культуры, которую не следует редуцировать в другие возрастные категории или в прошедшие формы культуры (Vakimo, 2001. S. 26–30).

Исследования в России

Тезисы А. Ненола и С. Вакимо обдумывались нами применительно к проведенным в 1990-е гг. исследованиям и собирательской работе в России. Мы занимались полевыми исследованиями в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях, в республиках Удмуртии и Марий Эл, то есть работали в основном с финно-угорским населением, хотя поселения были полиэтничными.

Характер полевых исследований был достаточно традиционным. В деревнях «по цепочке» стремились найти знающих фольклор жителей, так называемых хорошо помнящих и интересующихся стариной людей и среди них охотливых рассказчиков. На практике это были в основном женщины средних лет и старше. Методами сбора материала были интервьюирование и наблюдение. Разного рода оттенки и акценты в интервью зависели от того, кто на практике его проводил. Использовалось структурированное, полуструктурированное и свободное интервьюирование; проводилось и групповое интервьюирование.

Материал был многоязычным и смешанным в языковом отношении. Во время обычного и группового свободного интервьюирования пользовались смесью языков – карельского, вепского, русского и финского. Людям зачастую было достаточно сложно понять суть нашей работы. Между вепсами и карелами существовала определенная разница. Карелы выглядели более привычными к собирателям традиционных знаний. Можно даже сказать, что их научили быть информантами.

Во время полевой работы актуализировались такие факторы, как этническая принадлежность, социальное положение или класс и пол. Пришлось задуматься над тем, какое значение имело финское происхождение автора, гражданство Финляндии, какова роль собственной «финскости» во взаимовлияниях с разноэтничной группой исследователей, ка-

кое значение имел пол автора исследований и его академическое образование.

Процесс получения материала описан с позиций обобщенных выводов и через призму собственного опыта. Быстрые изменения в России породили новые, порой неожиданные обороты и темы в речи людей. Общественный, этнический и культурный перелом присутствует постоянно как в контексте всего исследования, так и в содержании рассказов информантов.

Противоречивая этническая близость и чуждость

Одной из форм общественных движений во время перестройки было движение на этнической почве. В деревнях этническое проявлялось различным образом. Частично разговоры об этнической принадлежности поднимались исследователями, но часто она ассоциировалась с другими поднятыми в разговоре темами. Можно сказать, что языковые вопросы вообще и особенно касающиеся вепсов и карел, сильно интересовали сельских жителей. Сравнение языков было популярной темой разговоров. Карельский и вепсский языки сравнивали в отношении их к финскому (с подачи автора), но также и с другими языками, находящимися в кругу языкового опыта собеседников. В целом было достаточно трудно определить действительную картину владения языками и использования разных языков в будничной ситуации.

Политико-идеологическая чуждость и социальное неравенство

Финляндские финны могут представлять себе, что они по причине общей этнической истории испытывают особенно теплое отношение к карелам и вепсам, если для сравнения взять отношение финнов хотя бы к русским и, с другой стороны, отношение жителей других западных стран к вепсам.

Карелы и вепсы – граждане России, они проживали в России сотни лет. Отношение к бывшему Советскому Союзу требует от западного исследователя сдержанности, ведь живем в условиях еще не успокоившегося волнения прекращенной недавно холодной войны. Требуется определенная осторожность в высказывании мнений.

Финляндия является западной страной с рыночной экономикой, что как явление для многих российских граждан было еще чем-то чуждым и порождало разные формы удивления и недоверия. Финское гражданство есть гражданство какой-то демократической, несоциалистической страны и на данный момент прежде всего страны зажиточной в экономическом смысле.

Представление о Финляндии как о зажиточной западной стране утвердилось в течение 1990-х гг., когда люди стали больше понимать действи-

тельное положение дел в России переходного периода. Речи, тем не менее, не касались политики, а были лишь повествованием о происходящих жизненных ситуациях. Чаще всего это были обычные жалобы, но трудности момента проявлялись также и в нарративах и тематических беседах. Трудно определить, повлияло ли иностранное гражданство на то, что жители деревень так быстро в своих разговорах переходили к жалобам на жизнь или это была лишь естественная реакция на быстрые и для многих людей, по вполне понятным причинам, кажущимися невозможными изменения.

В идентификации исследователей были и другие нюансы. Общим для всех вопросом был, например, такой: занимались ли мы благотворительностью и в чем именно выражалась эта наша роль. К этнической инородности примешивались социально неравные отношения на разных уровнях. Социальные различия между исследователями и деревенскими обывателями были физически ощутимыми: мы были жителями городов, откуда прибыли в летнюю пору на несколько недель интервьюировать население, представляли незнакомую для сельского жителя университетскую среду, непривычна для него была и наша работа.

Пол как объединяющий фактор

Особенностью нашей работы было то, что мы практически всегда имели дело с женщинами. Для женщин ритуалы представляли большой интерес, и они безо всяких усилий выступали в роли рассказчиц. Гораздо меньше интереса проявляли к традиционной культуре мужчины. Мы были привязаны к карельскому и вепсскому языкам, и это оказалось частично причиной того, что мы оказались в женском окружении, хотя изначально это не было нами предусмотрено. Таким образом, упор на этничность привел нас к усилению интереса к женской стороне культуры.

Женщины были общительнее мужчин. Женский состав нашей исследовательской группы уже сам по себе способствовал общению именно с женщинами. Контакт между исследователем и исследуемыми был в значительной степени основан на женском начале, на взаимном понимании того, как заботятся о детях и близких, о домашнем скоте и огороде. Это давало возможность проникнуть в ближайшее окружение женщин, по крайней мере, в качестве некоего внешнего его члена.

Практическая смекалка и забота о своих близких, столь свойственная деревенским женщинам, распространялась и на нас. Без их помощи мы, несомненно, не смогли бы выполнить поставленные задачи. В организации проживания и питания в сельской местности в России могли нежиз-

данно возникнуть проблемы, решение которых зачастую требовало изобретательности.

Но у женского союза была и другая сторона. Время от времени появлялось желание иметь больше информации о политической и общественной жизни. Тем не менее разделение работы по половому признаку привязывало нас к домашнему хозяйству, к компании женщин, детей и домашних животных, от которых мы периодически стремились уйти, желая услышать что-то другое. Следует, однако, сказать, что, в конечном итоге, женская сущность автора и участие в качестве некоего внешнего члена в «вепском движении» открыла возможность заниматься собирательской деятельностью. Интерес к традиционной культуре – естественная часть этнокультурных устремлений вепсов. Особый интерес женщин к ритуальной стороне культуры есть следствие этой тенденции.

Многоголосие деревни

В карельских деревнях особенно ярко проявилась сила этнического фактора, то есть этническая близость всего карельского и финского. С финскими гостями старались говорить по-карельски, вернее, на смеси карельского и финского, им пели финские песни, рассказывали о поездках в Финляндию и о живущих там родственниках и друзьях. Ориентация была на Финляндию и на все финское. Говорили много о традициях карел. Особую заинтересованность в обрядах, верованиях, церквах и часовнях проявляли сами исследователи, их привлекала религиозная информация, то есть тематика, ранее в науке как объект исследования не приветствовавшаяся. В этом контексте русская ментальность и все русское в современной культуре села оказались в тени.

О советском периоде финнам не хотели рассказывать, кроме, вероятно, как о сталинских репрессиях, что уже было, похоже, неинтересно российским исследователям. Так, собственная позиция исследователей и общие научные задачи, поставленные перед собирателями, повлияли на то, что советская история, культура и советский быт не получил должного внимания. Какова доля исследователей в конструировании прошлого?

Тем не менее ясно и то, что в российских деревнях есть доля населения, которая не считает важным подчеркивание своей этнической или религиозной принадлежности.

В связи с этим объектом изучения стали бы и те группы женщин, которые в нашей ситуации остались за пределами исследования. Мы столкнулись с проблемой понятия «народ». Разве отрицательно к религии

относящиеся женщины не представляют свой народ или их культура – это не народная культура?

Вполне понятно, что с точки зрения какой-нибудь другой науки, хотя бы экономической науки или социологии, исходя из других теоретических предпосылок, исследованные другими учеными, хотя бы российскими или американскими, или хотя бы в результате изысканий, проведенных исследователями-мужчинами, вепские и карельские деревни оказались бы совсем иными. Возможно, что этнический аспект занял бы в них меньше места, тогда как «восточная экзотика» усилилась бы. Усиление экзотической стороны было замечено, например, в описаниях некоторых американских исследователей.

В заключение заметим, что не бывает одноголосых деревень и что описания всегда похожи на записавших их исследователей.

Литература

Heikkinen K. «Vieras vai oma. Kenttätöiden vanha nainen» // Toim. Hirsiaho A., Korpela M., Rantalaiho L. Kohtaamisia rajoilla. Helsinki, 2005. S. 263–277.

Nenola A. Folkloristiikka ja sukupuolitettu maailma // Kulttuurintutkimus. Toim. Jari Kupiainen & Erkki Sevänen. Tietolipas 130. SKS. Jyväskylä, 1994. S. 184–204.

Vakimo S. Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevasta kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämäkäytännöistä. Helsinki, 2001.

Vuorela U. Postkoloniaali ja kolmannen maailman feminismit // (toim.) J. Airaksinen, T. Ripatti. Rotunaisia ja feminismejä. Nais- ja kehitystutkimuksen risteyskohtia. Tampere, 1999. S. 13–37.

© К. К. Логинов
Петрозаводск

К вопросу об этнолокальных и локальных группах русских Карелии

На характер и даже интенсивность изучения этнологами различных групп русского народа серьезным образом повлияла широкая дискуссия об этнических общностях, развернувшаяся в нашей стране в 1960–80-х гг.¹ В результате дискуссии были выделены основные компоненты этничности, утвердилось понятие «этноса», а также «субэтноса» и «этнографической группы» (общности, у которых этнические свойства выражены менее, чем у основной этнической единицы) и многие др. Тем не менее нельзя не согласиться с многократно высказываемым мнением, что набор универ-

сальных признаков этнической специфики как этноса, так и этнографических и этнических групп до сих пор окончательно не определен². Не случайно В. В. Пименов, назвав этнос «саморегулирующейся и самовоспроизводящейся системой», перечислил 10 компонентов «этничности» этноса, но указал, что набор этот «может быть как избыточным, так и слишком узким» в зависимости от объекта изучения – всего этноса или его территориальных подразделений³. При этом он справедливо указал, что «самым устойчивым признаком этнической структуры является вся структура в целом»⁴.

В изучении культурной специфики основных этнографических групп русского народа (севернорусской и южнорусской) отечественная этнография добилась несомненных успехов. Вершиной этого успеха стало составление и издание двух обширных томов «Русские. Историко-этнографический атлас»⁵. Значительно меньший прогресс обнаруживается в исследовании этнической и культурной специфики локальных общностей более низкого таксономического уровня. Без всяких сомнений следует согласиться с мнением Т. А. Бернштам, что «ареальная или локальная дифференциация» таких групп «изучена пока слабо и не равномерно», что их исследование будет производиться «в русле поиска новых аспектов и методологии изучения... „малых этнографических сообществ“»⁶. Именно «малые этнографические сообщества» Карелии, называемые иногда «этнолокальными», а чаще «„локальными“ группами», составляют предмет нашего исследования. Изучение их признано одной из актуальных задач отечественной этнографии на современном этапе развития науки⁷.

Первым серьезным опытом специального изучения локальной севернорусской группы, выполненного на монографическом уровне, стали монографии Т. А. Бернштам, посвященные «поморам»⁸. И это самым непосредственным образом касалось Карелии, северные территории которой заселены «поморами». Следующим подобным опытом изучения локальной группы Карелии стали монографии, посвященные локальной группе «заонежан»⁹. Десять лет автор посвятил изучению локальной группы русских, проживающих в Водлозерье. Монография по традиционно-бытовой культуре последних в настоящее время готовится к изданию. Таким образом, методика исследования «этнолокальной» группы для нас не является тайной за семью печатями.

Название «поморы», согласно исследованиям Т. А. Бернштам¹⁰, в качестве названия и самоназвания утвердилось еще в XVI в. Мысль, что «поморы» являются особой «этнографической» или «этнолокальной» группой русского этноса можно отыскать в любой работе, в которой пишется об этническом самосознании русского этноса. Идею о том, что «заонежане» в Олонецкой губернии тоже представляют собой особую груп-

пу, отличную от русского населения Олонецкой губернии, первыми высказали еще П. Н. Рыбников¹¹, затем – В. В. Майнов¹². С. А. Токарев причислил «заонежан» к числу «обособленных» групп русских Карелии, указав при этом, что такие группы имеют обособленную территорию проживания, с которой связано их название и самоназвание. Прочие группы населения на территории Карелии, название и самоназвание которых всегда связывалось с притяжением к местному административному центру, С. А. Токарев предложил называть «аморфными» группами¹³. Нам представляется, что от понятия «аморфная группа» отказываться ни в коем случае нельзя, поскольку по отношению к русскому этносу в целом любая из них будет «локальной», ибо всегда локализуется на строго определенной местности. Тем не менее в нашей этнографической науке уже укрепилась традиция именовать «этнолокальные» группы «локальными». Следует ей и автор. В 1986 г. нами со страниц «Советской этнографии» было заявлено о том, что «заонежане» являются «локальной» группой русских¹⁴. О том, что к «локальным» группам русских Карелии следует относить также «водлозеров», автор писал в 1995¹⁵ и 2001 гг.¹⁶ Более общий характер носила публикация 1990 г.¹⁷, в которой рассматривались все «аморфные» и обособленные группы русских Карелии. Всего на территории Карелии мы насчитали пять локальных («этнолокальных») групп русских. Это «заонежане», «водлозеры», «выгозеры», «даниловцы» (как целое группа существовала только до 1954 г.) и «поморы» (собственно «поморы») с Карельского и частично Поморского берега Белого моря.

«Этничность» самосознания (категоричность противопоставления «мы – они») у этих групп была различной. Если взять группу «поморов», то в ней выделялись не только собственно «поморы» с развитым осознанием своей внутренней культурно-этнической общности, но и те, кто такую общность едва-едва осознавали. Последнее выражалось, например, в заявлениях типа «„помор“ – это не национальность, а образ жизни» (информация А. П. Конкка из Княжей Губы). Поморскую ситуацию наглядно изображают названия других «поморов» со стороны собственно «поморов». В частности, население Кандалакшской губы они именовали «губянами» и «пяккой», а население от Умбы до Поноя – «терчанами» или «роканами»¹⁸. Тем не менее «этничность» самосознания «поморов» с их основным занятием морским рыболовством и зверобойными промыслами была гораздо выше, чем у «заонежан» – типичных севернорусских земледельцев. Такой же, а возможно, даже на порядок еще более яркой и напряженной была «этничность» (в данном случае – конфессионального) самосознания «даниловцев». Если к «даниловцам» по своему религиоз-

ному духу «поморы» были достаточно близки (почти сплошь старообрядцы поморского толка), то с «водлозерами», среди которых «оплотом старообрядчества» считалась всего одна дер. Малый Куганаволок, их разделяла непреодолимая конфессиональная пропасть. Таким образом, материалы с территории Карелии еще раз подтверждают тезис об иерархичности самосознания «этнических общностей различных таксономических категорий и порядков»¹⁹.

Подход автора к проблеме выделения локальных групп в Карелии состоял в том, чтобы непременно лично побывать там, где расселены представители «локальной» группы, а также у ближайших к ним территориально соседей и задать информантам традиционный в таких случаях набор вопросов. Мы выясняли: имеют ли представители группы особое самоназвание для всех представителей группы, не совпадает ли их самоназвание с названием административного центра территории. Затем методом опроса выявлялись окраинные пункты расселения «своих» и ближайших «чужих», а также границы хозяйствования представителей группы, то есть локальная территория расселения группы. Особенно актуален данный вопрос в случае, когда соседями являются не иноэтничные соседи, а группы родственного этноса. Поэтому нами всегда изучался вопрос, насколько территория расселения группы совпадает или не совпадает с волостной административной территорией (не была ли она уже или шире, чем волость, не разделялась ли границами разных волостей или границами уездов, а также границами церковных приходов). Оказалось, что территория расселения «локальной» группы, как правило, не совпадает с административной территорией волости и уезда. У небольших «локальных» групп Карелии («выгозеров» и «даниловцев») она была уже, чем территория волости, а у более крупных обычно включала две волости и более, часто при этом еще и из разных уездов. Данные обстоятельства, на взгляд автора, один из верных признаков, что исследователь имеет дело именно с «этнолокальной» группой. Представителям группы мы предлагали назвать черты быта и материальной культуры, по которым они могли бы с первого взгляда отличить представителей своей группы от представителей иных групп. Обычно такими чертами оказывались какие-то особенности кроя традиционной женской одежды и женских повойников, размеры и форма упряжной конской дуги, особенности конструкции и формы основного типа местной лодки. Обязательно среди представителей соседних с исследуемой групп населения проводился опрос: считают ли и они данную группу населения какой-то особой (и почему), как именуют представителей соседней группы, то есть выяснялся экзоэтноним исследуемой группы. При наличии достаточных этнокультурных оснований пред-

полагать, что автор действительно имеет дело с «локальной» группой, следовало обратиться с вопросами к лингвистам или же к имеющейся специальной литературе на предмет выяснения вопроса: присущ ли исследуемой группе особый, характерный именно для нее говор. Полагаться на мнение информантов, что их говор отличается от говора соседей, автор считает несколько некорректным методом исследования локальной группы. Информанты, как правило, не способны оценить говор всей своей группы в целом, но уверенно указывают мелкие отличия выговора слов их собственной деревни от выговора ближайших соседей. Тем не менее даже последовательно выполненный опрос по указанной схеме дает лишь предварительный ответ на вопрос, является или не является данная группа локальной группой русских. Окончательный утвердительный ответ дает лишь детальное монографическое исследование традиционной материальной культуры, семейной обрядности и народного календаря (и народных праздников) этой группы на предмет выявления локальной культурной ее специфики. На это приходится тратить годы и годы исследовательской работы.

В качестве примера приведем наш опыт, связанный с изучением русских Заонежья. Вывод о том, что заонежские говоры представляют собой особую группу русских говоров Карелии, был сделан Р. Ардентовым (1955), Т. Доля (1963), М. Сухановой (1975). Наши исследования показали, что «заонежане» обладали и обладают всеми прочими признаками, которые позволяют их выделять в «локальную» группу русского этноса. В числе этих признаков:

а) общая для всех «заонежан» территория расселения, отделенная от других групп русского и нерусского населения Карелии водами Онежского озера, а с севера – незаселенной водораздельной территорией. Несмотря на то что в административном отношении Заонежье разделялось между Петрозаводским и Повенецким уездами, а внутри еще и границами трех волостей, Заонежье воспринималось и самими «заонежанами» и их соседями как единая, общая для представителей группы территория;

б) общее для всех «заонежан» самоназвание («заонежана»), совпадающее с названием (экзоэтнонимом) со стороны других групп русского и нерусского населения Карелии, никак не было связано с каким-либо административным центром, но объединялось территорией расселения – Заонежским полуостровом. «Заонежанами» их называли даже северные карелы, «поморы», «выгозеры» и «даниловцы», хотя по отношению к районам их расселения Заонежье не было территорией, расположенной «за Онежским озером»;

в) общее для «заонежан» «локальное» самосознание, которое проявлялось как осознание внутреннего языкового и культурного единства своей группы в противоположность другим группам русских. Локальное самосознание «заонежан» было обострено проживанием их в этническом пограничье, по соседству с иноэтничными карелами и вепсами;

г) общность для всей группы отдельных феноменов их народной культуры. Например, форма и особенности росписи праздничных выездных дуг, форма донцов женских повойников, конфигурация воротников наплечной женской одежды и некоторые другие детали (и способы ношения) одежды и многое др. Они воспринимались «заонежанами» в качестве консолидирующих группу признаков, отличающих представителей их группы от групп соседнего русского, вепсского и карельского населения;

д) основанное на фольклорных преданиях осознание единства происхождения «от общих предков» – новгородцев.

«Заонежане» в массе своей не были старообрядцами (как «даниловцы»), не имели особого для их группы социального статуса (как казаки), не отличались от соседей особым культурно-хозяйственным комплексом (как «поморы»). При некоторой этнокультурной и языковой несхожести с окружающим русским населением ведущим признаком для выделения «заонежан» в локальную группу было проживание их на особой, четко очерченной территории. Однако наименование и группы, и территории, давшей название самой группе, не было связано с наличием вблизи крупного водоема, как у «поморов», «выгозеров», «водлозеров» (карел «сямозерцев» и «сегозерцев»). Этим локальная группа «заонежан» выделяется среди других локальных групп Карелии, хотя и здесь можно говорить о притяженности к крупному природно-географическому объекту на территории Карелии. Локальными группами Карелии, название и самоназвание которых связывалось не с природно-географическим объектом Карелии, а с притяженностью к духовному центру, была группа старообрядцев «даниловцев» (самоназвание – «Боговы дети») ²⁰.

Не сложились в локальные группы в силу, скорее всего, тесного контакта с соседями (из-за отсутствия собственной, изолированной от соседей территории, тяготеющей к крупному природно-географическому объекту) такие старожильные группы русских Карелии, как «челмужане», «шаляне» и многие другие «аморфные» группы русских Пудожья и северо-восточного Обонежья. Исторически поздно, в XVIII в., возникшим в западном Обонежье группам русских («лижемцев» и «уничан»), фактически проживавших в окружении карел, не хватило, наверное, времени, чтобы сложиться в локальные группы. Кроме того, формированию последних в локальные группы препятствовала их очевидная малочисленность.

¹ Громов Г. Г. Восточнославянские народы // Очерки по этнографии народов СССР. М., 1962. С. 3–45; Токарев С. А. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии) // Вопросы философии. 1964. № 11. С. 43–53; Чебоксаров Н. Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых // СЭ. 1967. № 4. С. 94–109; Козлов В. И. О классификации этнических общностей (состояние вопроса) // Исследования по общей этнографии. М., 1974. С. 5–23; Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М., 1981; Он же. Очерки теории этноса. М., 1983; Он же. Этносоциальные процессы: теория, история современность. М., 1987; Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М., 1985; Пименов В. В. Системный подход к этносу // Расы и народы. М., 1986. С. 12–30; Чистов К. В. Еще раз об исторических типах этнических общностей // СЭ. 1986. № 5. С. 78–80 и др.

² Чистов К. В. Еще раз об исторических типах этнических общностей. С. 69–70; Пименов В. В. Системный подход к этносу. С. 14–15; Фурсова Т. В. Этнографические и этнические группы: проблемы их дифференциации и методов исследования // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера (Материалы IV междунар. науч. конф. «Рябининские чтения»). Петрозаводск, 2003. С. 263) и др.

³ Пименов В. В. Системный подход к этносу. С. 13–14.

⁴ Там же.

⁵ Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967, 1970.

⁶ Бернштам Т. А. Введение // Русский Север. К проблеме локальных групп. СПб, 1995. С. 5.

⁷ Бернштам Т. А. От редактора // Русский Север. Ареалы и культурные традиции. СПб, 1992. С. 3.

⁸ Бернштам Т. А. Поморы. Формирование группы и система хозяйства. Л., 1978; Она же. Русская народная культура Поморья в XIX – начале XX в. Л., 1983.

⁹ Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск, 1993; Он же. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX – начало XX в.). СПб, 1993; Кузнецова В. П., Логинов К. К. Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало XX в.). Петрозаводск, 2001.

¹⁰ Бернштам Т. А. Поморы. С. 70.

¹¹ Этнографические заметки о заонежанах // Памятная книга Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1865.

¹² Майнов В. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб, 1877.

¹³ Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958. С. 10.

¹⁴ Логинов К. К. Являются ли «заонежане» локальной группой русских? // СЭ. 1986. № 2. С. 91–95.

¹⁵ Логинов К. К. Этническая история и этнографические особенности русских Водлозерья // Природное и культурное наследие национального парка «Водлозерский». Петрозаводск, 1995. С. 197–205.

¹⁶ Логинов К. К. Основные компоненты традиционно-бытовой культуры русских Водлозерья // Национальный парк «Водлозерский»: Природное разнообразие и культурное наследие. Петрозаводск, 2001. С. 267–273.

¹⁷ Логинов К. К. Аморфные и обособленные группы русских бывшей Олонецкой губернии // Европейский Север: история и современность. Петрозаводск, 1990. С. 140–141.

¹⁸ Бернштам Т. А. Поморы. С. 59, 77–78.

¹⁹ Чебоксаров Н. Н. Указ. соч. С. 96.

²⁰ Как представляется, имеются локальные группы и среди прибалтийско-финского населения Карелии. У карел к таковым, по-видимому, можно отнести «михайловских» карел, народный говор которых считается более близким к вепским диалектам, чем к диалектам карельского языка. Их название со стороны олонечских карел – «михайловские евреи». Некоторые признаки, характерные для этнолокальных групп, обнаруживаются и у вепсов, проживающих ныне на особой административной территории – Вепской волости Карелии. Однако вопросы эти являют собой особую самостоятельную тему, которая требует детального исследования.

Этногенетические истоки традиционных представлений о домашних птицах у вепсов

В мифологии всех народов значительное место занимают животные, представления о которых удивительно разнообразны: тотемизм, природно-хозяйственный и социально-религиозный культы, магия, связанные с нею суеверия и т. д. Исследование всех этих сложных явлений имеет много аспектов. Один из них – этногенетический – важен и с практической точки зрения, особенно при изучении народов малочисленных, таких, например, как вепсы, пытающихся возродить свою культуру, подчеркнуть ее национальное своеобразие в разноцветном мире этносов. Один из пунктов в решении этой проблемы включает работу по созданию национальной символики. О ее назревшей необходимости говорят, в частности, эпизоды из вепского национального движения. В 1989 г. в с. Шелтозеро проходил очередной фольклорный праздник. В качестве символа этого праздника и символа вепской национальной культуры его организаторы выбрали красного петуха. Образ этого животного вызвал естественный вопрос: насколько он действительно может считаться вепским национальным символом? Но чтобы дать ответ на него, необходимо было ответить на ряд других вопросов: когда вепсы стали заниматься куроводством, имеется ли образ петуха в древневепском изобразительном искусстве и фольклоре, известны ли вепские ритуалы «с петухом» и насколько они древние и т. п. Таким образом, требовалось обоснование, основанное на фактах.

Ученые считают, что центром распространения петухов и кур по всему миру явилась территория Индии. Примерно во II тыс. до н. э. в Индии, а также в Бирме и на Малайских островах петухи занимали почетное место в ряду священных животных. Их держали в домах не из-за мяса и яиц, а как дозорных, своим пением прогоняющих злых духов. Именно в таком качестве эти птицы примерно в I тыс. до н. э. попали сначала в Персию, затем в древнюю Грецию, после – в Рим и далее распространились по всем странам Европы. В быту прибалто-финнов петухи и куры появились, скорее всего, под влиянием германцев, у которых птицеводство достигло высокого уровня развития¹. Названия кур и петухов в прибалтийско-финских языках одинаковы и относятся к древнегерманским заимствованиям (вторая половина I тыс. до н. э. – первые века н. э.)².

Какие функции выполняли эти птицы у прибалто-финнов в то время, неизвестно. Можно предположить, что, как и у многих народов Европы, они первоначально играли роль домашних охранителей. В раннем средневековье весь не разводила кур. Костей домашней курицы на поселении Крутик (IX–X вв.) не выявлено, хотя на древнерусских памятниках конца I – начала II тыс. н. э. Московской, Калужской, Смоленской, Рязанской областей они известны. В то же время подвески-обереги в виде «курочек» и «петушков» встречаются в древневепских оятских курганах³. Еще в конце XIX – начале XX в. куроводство было слабо развито в вепских деревнях. Кур держали из-за яиц. О состоянии дел в этой отрасли животноводства в Олонецкой губернии (местожительстве прионежских, оятских и шимозерских вепсов) писала газета «Олонецкие губернские ведомости»: «Куроводство только еще начинает распространяться в губернии, двигаясь с юга на север; есть местности (центральная Карелия), где кур еще не знают. На юге и востоке губернии крестьянская кура обладает только одним качеством – выносливостью». Эта малорослая, почти карликовая птица, дает в год 40–70 яиц⁴. В тон этому газетному сообщению вторит и наблюдение А. В. Светляка о куроводстве у шимозерских вепсов, сделанное уже в конце 20-х гг. XX в.: «Куроводство в Шимозерии не завоевало еще себе достаточных прав на существование»⁵. Столь бледный практический фон, обрисованный исследователями, не согласуется с довольно яркими мифологическими представлениями о петухе и курице, бытовавшими у вепсов.

К древним индоевропейским истокам относятся вепские представления о петухе как солнечном животном, своим кукареканьем возвещающим наступление положительного времени – дня, света, когда исчезают темные силы. Попав в вепскую среду, эти представления приобретали своеобразные формы. В северновепской традиции в образе петуха – вестника солнца и бодрствования – представлялся дух бессонницы под названием *örägu* (букв. «ночной плач»), мешающий спать ребенку. Об этом свидетельствует лечебный обряд против *örägu*: над девочкой или мальчиком в рубашке держали коромысло, на которое сажали петуха. Далее рубашку мочили в воде и вешали на коромысло с заклинанием: «*Örägu, na sinei rad täl öl paideine kuida i pecida rabad ni kosta*» – «Ёрягу, на тебе работу на всю ночь рубашку сушить и этого раба не трогай». Затем эту рубашку одевали ребенку на ночь⁶.

Петух, как и солнце, – счетчик времени. В прошлом вепские крестьяне определяли дневное время по солнцу, а ночное – по крику петухов. От

соседнего русского населения оятские вепсы переняли термины, обозначающие отсчет времени по крику петухов. Считалось, что петухи должны петь в *урочное время*: первый раз – в полночь, второй – в два часа ночи, третий – в три. Всякий другой час в ночную пору будет в *непоказанное время*⁷. Петушиный крик в урочное время способен победить нечистую силу. Такое представление нашло отражение в ритуале перехода в новый дом. Оятские вепсы всегда переселялись в новый дом в урочное время после петушиного крика, который разгонял нечисть. Этот мотив довольно часто встречается и в вепских сказках: человеку угрожает опасность от представителей темных сил, спастись он сможет только в том случае, если продержится до крика петуха⁸. По северновепским поверьям, «если в избе чудится, то надо петуха на ночь взять в избу, чтобы не бояться. Пение петуха очищает все в избе»⁹. Мотив о петухе, разгоняющем нечистую силу, нашел отражение в вепских меморатах. В одном из них рассказывается, как духу леса удается забраться в курятник только после того, как он выбрасывает оттуда петуха¹⁰.

Приведенные данные показывают, что в народных представлениях петух как бы одновременно соединял положительное время и положительное пространство. По мнению исследователя мифологии В. Б. Иорданского, из всех домашних животных петух был наиболее тесно связан с домашним положительным пространством. Он проводил день в непосредственной близости от жилища, а на ночь укрывался под крышей крестьянского дома¹¹. Вепсы считали, что «без петуха дом – сирота»¹². В большинстве вепских деревень при переселении в новый дом, который в народном сознании представлялся неизведанным, полным опасностей пространством, первым хозяева пускали петуха – защитника от всего вредоносного¹³. Петух считался хозяином дома. У капшинских вепсов по действиям петуха определялся глава семьи: если петух шел в красный угол, значит, хозяином будет мужчина, если в другое место – женщина. У южных вепсов появление петуха в первую очередь в красном углу или у печи сулило богатую и счастливую жизнь. Если петух запоет, значит, жизнь семьи в новом доме будет веселая¹⁴. Различные варианты обряда перехода в новый дом с петухом были распространены у славянских народов. Исследователи относят их к праславянской традиции¹⁵.

Петуху приписывалась способность уничтожать и такой вид нечисти, как болезни. Для вепской традиции характерно множество лечебных заговоров, в центре которых образ этой домашней птицы, клюющей болезнь. Приведу отрывок из заговора от *призора*, или сглаза, у ребенка: «Kuldeizel kivel kuldeine kukei, oma kukeizel kuldeizel suugeized, om kukeil kuldeine nõkeine, kut necil nõkeizel kokkib i nokkib, muga nokeigaha i kokei-

gaha pahad čokkāižed, nokeigaha i kokeigaha nabeisešpäi pahad ligutezed» – «На золотом камне золотой петух, у петушка золотые крылышки, у петуха золотой клювик, как этим клювиком долбит и клюет, так пусть долбит и клюет плохие колночки, пусть долбит и клюет из пупка плохие раны»¹⁶.

Если петух связан с солнцем, то курица – с темнотой, закатом. По северновепсской примете, если курица сидит на яйцах головой к заходу солнца, то из яиц на свет появятся курицы, если сидит головой к восходу солнца, то будут петухи, а если сидит в полдень к солнцу – те и другие¹⁷.

Связь курицы с закатом, а следовательно, с нижним загробным миром отразилась на направленности ее пророческого пения, которое, в отличие от петушиного, считалось отрицательным. У вепсов, как и у многих народов Европы и Азии, широко была распространена примета, видимо, общеиндоевропейского происхождения о том, что пение курицы петухом – к худу.

К отголоскам древних индоевропейских представлений можно отнести и взгляд на кур как на нечистых существ и производный от него запрет употреблять куриное мясо в пищу, бытовавший в прошлом у пязозерских вепсов, а также у паданских карел и русских Заонежья¹⁸. Такой вывод имеет основанием данные из древних европейских культур. У кельтских племен бриттов, например, считалось святотатством отвеждать куру¹⁹.

Изучение некоторых продуцирующих и предохранительных куроводческих обрядов обнаруживает зависимость кур от огня домашнего очага. В Великий Четверг перед утренней топкой хозяйка ворошила кочергой золу в печном жаратнике; если она находила скопление непотухших углей, это означало «куриное гнездо с яйцами», то есть знак, что куры будут хорошо нестись²⁰. Подобный обряд под названием *искать гнездо* был известен и русскому населению Заонежья²¹. Чтобы курицы водились в хозяйстве и не околевали, существовал запрет жечь в печи «клинья» – заостренные с одной стороны куски дерева²². У оятских вепсов, например, запрет жечь в печи клинья объяснялся тем, что курица залетит в топящуюся печь²³. Возможно, перед нами отголоски каких-то древних представлений о связи куриных с огнем. У многих народов Европы и Азии эта связь наиболее ярко прослеживается с петухом, но вполне может касаться и кур. По немецкой примете, если курица (особенно красная) запоет петухом, то следует опасаться пожара²⁴. Кроме того, у многих европейских народов обнаруживаются жертвоприношения петуха огню. Так, по сведениям И. Георги (конец XVIII в.), «собираются ижорки на канун Иванова дня и препровождают с пением и воплем всю ночь при великом огне, а напоследок сжигают белого петуха, делая при этом много шалостей»²⁵. Известны также латышские и русские жертвоприношения петуха

для умилоствления гуменника-овинника²⁶. Как представляется, все эти параллели в какой-то мере объясняют ассоциацию из уже упоминавшегося вепсского запрета о клиньях и курице, залетающей в печь. В этом контексте, как нам кажется, раскрывается и образ подгоревшего петуха в детской дразнилке у вепсов: «Iroi-biroi, räčînrahkoi, korbiï kukoi räčil launub» – «Ирой-бирой, пяхинрахкой, подгоревший петух на печи поет» (*päčînrahkoi, rahkoi* – это дух печного очага у вепсов). Любопытна и поговорка, которая у вепсов употребляется по отношению к человеку, поздно явившемуся на работу: «Kukoi – pule, a rahkoi – gadole» – «Петух – на насест, а рахой – на работу». Одновременное упоминание петуха и духа печи может свидетельствовать о взаимосвязи этих образов. Такое явление вполне возможно. В верованиях русских крестьян, например, связь петуха с домашним очагом выражена достаточно определенно²⁷. К кругу подобных представлений можно отнести и способ тушения пожара куриными яйцами, распространенный у русских, коми и вепсов²⁸.

Таким образом, петух и курица – явно почитаемые животные в вепском бестиарии. С ними были связаны основные пространственно-временные идеи существования Вселенной: верхний и нижний миры, чередование света и тьмы, дня и ночи. Петух и курица были воплощениями плодородия и плодовитости. Голос и поведение этих птиц служили важными предсказаниями. Петух был символом солнца и огня, мощнейшим оберегом. Сравнительный анализ показал, что подавляющая часть этих представлений, лежащая в основе культа, имела древнее индоевропейское происхождение. В вепсской среде они получили разные витки развития. Солнечная и огненная природа петуха использовалась в сложении образов мифологических персонажей *örägu* и *päčînrahkoi*; бережное значение петуха получило яркое воплощение в вепсских заговорах от болезней. С развитием птицеводства курица стала объектом многих продуцирующих и предохранительных обрядов. Многие из них были заимствованы от русского населения, у которого куроводство и связанный с ним комплекс обрядов оказались более развитыми. В русской традиции в отличие от вепсской были широко распространены: «курячи именины», «куриные праздники», отмечаемые 1/14 ноября, в день памяти св. Космы и Дамиана; использование петуха и курицы в свадебном ритуале; разнообразные блюда из куриного мяса и т. д.²⁹

¹ Материальная культура. Свод этнографических понятий и терминов. М., 1989. С. 34.

² SKES. 1958. II. С. 232.

³ Пименов В. В. Этническая принадлежность курганов юго-восточного Приладожья // СА. 1964. № 1. С. 96.

- ⁴ Куроводство // ОГВ. 1913. Т. 1, № 2–3. С. 178.
- ⁵ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. Р. 119. Оп. 1. № 344. Л. 52.
- ⁶ Perttola J. // SKSA. № 220.
- ⁷ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. Р. 119. Оп. 1. № 344. Т. 2. Л. 2.
- ⁸ Вепские народные сказки. Петрозаводск, 1996. № 9.
- ⁹ Perttola J. // SKSA. № 93.
- ¹⁰ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. Р. 119. Оп. 1. № 344. Л. 10.
- ¹¹ Иорданский В. Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. М., 1991.
- ¹² Пушкин Д. М. // Архив КНЦ. Р. XI. Оп. 2. № 79. Л. 25.
- ¹³ В ряде деревень капшинских и южных вепсов эту роль выполняла кошка.
- ¹⁴ Joalaid M. Elamuga seotud kombestikust lõuna-vepsas // Etnograaiiamuuseumi aastaamat XXX. Tallinn, 1977. С. 240.
- ¹⁵ Байбурун А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 104–106.
- ¹⁶ Perttola J. // SKSA. № 206.
- ¹⁷ Ibid. № 457.
- ¹⁸ Пяжозеро. Фон. ИЯЛИ, № 3414/4; Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). М.; Л., 1965. С. 123; Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья. СПб, 1993. С. 125.
- ¹⁹ Дмитриев Ю. Д. Человек и животные. М., 1976. С. 199.
- ²⁰ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. № 344. Тетр. 9. Л. 3.
- ²¹ Логинов К. К. Указ. соч. С. 39.
- ²² Макарьев С. А. // Архив КНЦ. Ф. 26. Оп. 1. № 15. Л. 173.
- ²³ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. № 344. Разд. III. Л. 1.
- ²⁴ Клингер В. П. Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911. С. 309.
- ²⁵ Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Ч. 1. СПб, 1799. С. 25.
- ²⁶ Мифы народов мира. Т. II. М., 1997. С. 310.
- ²⁷ Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978. С. 165.
- ²⁸ Петук // Мифология коми. Сыктывкар, 1999; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX в. М.; Л., 1957. С. 69; Винокурова И. Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX – начало XX в.). СПб, 1994. С. 67.
- ²⁹ Маслова Г. С. Указ. соч. С. 165; Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря. СПб, 2001. С. 294–295.

© В. П. Кузнецова
Петрозаводск

«Словарь живого поморского языка» И. М. Дурова как источник для изучения этнокультурных контактов

В Научном архиве Карельского научного центра РАН с 1934 г. в фонде документации хранится папка, которая до сих пор была просмотрена буквально одним-двумя исследователями. Это рукопись краеведа-исследователя Ивана Матвеевича Дурова, коренного жителя поморского с. Сумский Посад. Рукопись называется «Словарь жи-

вого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении». Она написана от руки чернилами и содержит восемь томов. На каждом из них стоит отметка «не издан» и дата 1934 г.¹ В «Словаре» содержится не только бесценный лингвистический материал, но и поморский фольклор, а также богатый этнографический материал, который мы находим в статьях, дающих толкование некоторых слов. Это не единственная работа И. М. Дурова, хранящаяся в Научном архиве. Исследователи давно пользуются его материалами, содержащимися в нескольких фольклорных коллекциях 1910–1936 гг. В них собраны записи произведений разных жанров – духовные стихи, поморские песни, детский фольклор и т. д.²

По словам самого И. М. Дурова, он работал над «Словарем» 20 лет, и рукопись стала для него трудом всей жизни. Сбор материала он начал в 1912 г. по программе Академии наук, изданной в 1900 г. В 1913 г. благодаря инициативе Беломорского отдела Общества изучения Русского Севера началась работа над «Словарем»³. Несколько слов необходимо сказать о самом И. М. Дурове. В архиве имеется его личное дело, в котором указана дата его рождения – 1894 г., место рождения – с. Сумпосад. После окончания 7 классов Сумского высшего училища (1903–1910) он в течение 9 месяцев в 1912 г. прошел заочную подготовку «гимназия на дому» и окончил коммерческие курсы «Самообразование» в 1913 г.⁴ В одном из документов он сам указывал, что начал краеведческую работу с 1915 г., когда состоял в Обществе изучения Поморского края. С 1924 г. занимался краеведческой работой и организацией ячеек краеведения при колхозах и школах в Сорокском районе⁵.

И. М. Дуров сотрудничал с Карельским научно-исследовательским институтом, вел с ним переписку и сдавал на хранение собранные материалы. В 1934 г. между ним и институтом на полгода был заключен договор, подписанный С. Макарьевым⁶, для завершения работы над «Словарем».

Территория, которая обследовалась И. М. Дуровым с целью сбора материала для «Словаря», – это, как он сам называет, Сорокско-Кемский район, от с. Поньгома до с. Нюхча включительно. За 20 лет ему удалось собрать 12 090 слов среди поморского населения; кроме того, были привлечены статьи и заметки из разных изданий. В рукопись включен материал его опубликованного словаря по рыболовному промыслу Поморья, изданного Соловецким обществом краеведения в 1929 г.⁷ В 1934 г., завершая работу над «Словарем», И. М. Дуров выезжал в поморские села, где проверял произношение и значение каждого слова. В 1937 г. он был аре-

стован, 3 апреля 1938 г. расстрелян, как установила исследовательница его биографии и краеведческой деятельности С. М. Лойтер⁸, в местечке Сандармох около г. Медвежьегорска.

«Словарю живого поморского языка» И. М. Дуров предпослал целое исследование истории Беломорья, сведения о составе населения, особенностях быта, а также дал общую характеристику поморского говора, его фонетики, морфологии и синтаксиса. Многие слова сопровождаются статьями, поясняющими употребление этих слов в живой речи, дается иногда развернутое описание какого-либо обряда или предмета, орудия труда и т. д., целое фольклорное произведение (частушка, поговорка, народная примета) или отрывок песни. Надо ли говорить о ценности труда И. М. Дурова для языкознания, этнографии и фольклористики, особенно имея в виду то, что он сам был носителем этого говора и традиционной поморской культуры.

Первое, что отмечает автор «Словаря», – это однородность национального состава населения в исследуемом регионе – Нюхча, Колежма, Сумский Посад, Вирма, Сухое, Шизня (он называет так Шижню), Выгостров, Сорока, Шуерецкое и г. Кемь. В поле зрения не вошли рыбацкие поселения Юкково и Сань-наволоок, а также лесозаводы и железнодорожные поселки Сороки, Шуерецкого и Кемь, поскольку они населены «пришлыми людьми»⁹. Говоря о географическом положении Поморья, И. М. Дуров отмечает, что с севера и северо-запада оно граничит с Лоухским, Ухтинским и Тунгудским районами, где проживает карельское население. Он приводит примеры топонимов, говорящие о том, что первыми жителями Поморья были саамские (лопарские) племена, вытесненные впоследствии финнами. Это такие названия древних урочищ, озер, гор и прибрежных островов на Белом море, как Тайбола, Кок-ручей, Сяр-ручей, Яванд-ручей, Чупор-гора, Пёрт-озеро, Гап-наволоок, Сум-остров, Габ-озеро, Рух-ламба, Керко-ручей, Куз-остров, Тоб-ручей, Ревеж-гора, Майдо-ручей, Вегаракша, Рег-остров и многие др.

Краевед высказывает предположение, что еще в IX в. на Беломорье обитало финское племя Сумь (*Suoma laiset*), которое занимало обширное пространство между Онего и Белым морем. Именем племени Сумь называется р. Сума, вытекающая из оз. Сумо, а отсюда и Сумский Посад, древнейшее селение Карельского Поморья. Автор говорит об истории завоевания Поморья шведами, о владении этим краем карелами и вытеснении карел новгородской колонизацией.

И. М. Дуров приводит сведения из летописи Сумского острога, в которой записаны первые поселенцы на берегах рек Сума, Выг. Это были бежавшие в XV в. от притеснений «ливонского города немцев» право-

славные христиане. Среди этих фамилий встречаются такие, как Ильмянинов (с Ильмень-озера), и карельские фамилии, например, Рогуев. Во второй половине XIX в. происходило переселение на морское побережье карел из средней Карелии – к Сумскому Посаду, Колежме и Вирме, из Тунгудской Карелии – к Соробе, Шижне и Шуе, а из Ухтинской – к Кеми и частично Шуе. Карелы, переселявшиеся вместе с семьями, оседали в Поморье, устанавливались прочные связи со славянским населением через межнациональные браки, происходило и взаимное восприятие культурных традиций, сказались это и на особенностях поморского говора.

И. М. Дуров отмечает, что влияние на культуру некоторых поселений Поморья оказала лесная промышленность, в которой были задействованы переселенцы из других районов Русского Севера, например, в район Сороба – Кемь они принесли свои обычаи и особенности наречия, которые в известной степени отразились на современном говоре поморов. Благодаря Мурманской железной дороге, отмечает составитель «Словаря», коренное население Сороби, Шижни и Кеми было растворено другими национальностями. В то же время весь Соробский район остался почти нетронутым. По данным сельских советов сел Нюхчи, Колежмы, Сумы, Вирмы и Сухого, на 1934 г. численность населения составляла 4942 человека, из них на долю коренного, то есть поморов, приходилось 4547 человек, пришлое русского – 369, обрусевших карел – 17 и представителей прочих народов 9 человек, почти все они проживали в Сумском Посаде¹⁰. В процентном соотношении на то время русских проживало в Поморье 97,4%, карел – 1,5 и прочих национальностей 0,1%. И. М. Дуров отмечал толерантность поморского населения, чему способствовало распространение межнациональных браков.

Тенденция межнациональных браков сложилась после империалистической войны 1914 г. До этого времени в Поморье предпочтение при выборе брачных партнеров всегда отдавалось своим односельчанам или поморам своего края. Нарушение этого правила было редким исключением, еще более необычным был выбор помором жены за пределами Беломорья. Выход девушки замуж за непомора становился целым событием для села. Война, а затем революция разрушили целостность семейного уклада жизни. Уже в начале 1930-х гг. смешанные браки не были редкостью.

И. М. Дуров, не имея специального лингвистического образования, смог сделать подробный очерк об особенностях поморского говора. По его наблюдениям, в этом говоре сохранились следы саамского и прибалтийско-финских языков. Об этом говорят не только многочисленные названия, о которых уже говорилось, эти следы отмечаются и в лексике.

Рассмотрим несколько примеров из его «Словаря», сопоставив их хотя бы с одним из словарей прибалтийско-финских языков¹¹.

Ню'гайдаць – гнусавить, говорить невнятно (*Nuhnoi* – кар. мямля; гнусавый).

Ню'рику (слово карельское) – шитые из кожи без накладных подошв и каблуков летние сапоги; удобная и весьма легкая обувь для хождения по лесам и болотам в летнее время. Незаменимая обувь у карела. Повс.

Ня'ша – И. М. Дуров сам отмечает, что это слово финское – тина, болото, трясина (*Näskii* – кар. чавкать, хлюпать – о грязи, о воде).

Ли'нда (лопарское) – 1) жидкая, заправляемая мукою похлебка из рыбы; жидкая разварившаяся каша; 2) о человеке в насмешку: длинный, тончайший, длинноногий и длиннорукий; слабого телосложения.

Лох – название семги после нереста (*Lohi* – кар. лосось).

Ля'бзатъ – переговаривать, передавая слышанное, пересказывать, заниматься сплетнями (*Läbžöttii* – кар. мять, толочь, раздавливать).

Маймуха – маленькая рыбка-малек, по строению кости и формой сходная с навагой и треской; не имеет чешуи; обитает исключительно в пресной речной воде в реках Нюхча, Руйга и Колежма (*Maimu* – кар. 1) сушеная мелкая рыба, сущик; 2) мелкая рыбешка).

Малтатъ (слово карельское) – понимать, разуместь. Я малтаю, что ты говоришь.

О прибалтийско-финском влиянии говорит и ударение, во многих словах сохраняющееся на первом слоге. Примеры: *ручей, потолок, спина, копаньё, плёваньё, запечё, бóсой, густой, дру́гой, плóхой, при́дет* и др.

С XIV в. Беломорье заселялось новгородцами, и, как утверждает И. М. Дуров, вплоть до конца XV столетия здесь существовал только новгородский говор. В районе Сорока – Кемь все-таки заметно искажение местного говора в связи с прибалтийско-финским (карельским) влиянием. С XV в., когда утверждается московское владычество, появляются и элементы московского наречия¹². Вместе с тем все, что впитал поморский говор, основой которого является новгородское наречие, настолько органично вошло в него, что стало незаметным. Это касается и московского, и прибалтийско-финского влияния.

Это только один из вопросов, которых касается И. М. Дуров в своем «Словаре». Сам он признается в предисловии, что не имеет специального лингвистического образования и что изучить собранный материал должны специалисты. Большую ценность для нас представляет его труд и сегодня. Этот «Словарь», безусловно, должен быть издан.

В одном из архивных дел хранится переписка И. М. Дурова с руководителем этнографо-лингвистической секции А. Н. Нечаевым. Закончив свой труд, Иван Матвеевич представил его в единственном экземпляре в Карельский научно-исследовательский институт. Завязалась долгая переписка по поводу издания «Словаря» и фольклорных материалов. По письмам видно, как изменялось отношение краеведа к руководству института, условия заключенного договора не выполнялись, по-видимому, его труд не был оплачен, а жить ему было не на что. Он страстно желал заниматься научным трудом, но в условиях сельской жизни это было невозможно, в институт путь ему был закрыт, возможно, из-за связи с Н. Н. Виноградовым, редактором его первого словаря по рыболовному промыслу, способствовавшим изданию словаря на Соловках. В письме А. М. Линевскому он говорит: «Я, Александр Михайлович, не смею мечтать о том, что я когда-либо буду получать регулярно деньги на жизнь – сидеть и писать. Нет, я такими мечтами никогда не задавался, а лишь горел желанием передать на пользу науки и грядущему поколению все то, что знаю, что имею о своем горячо любимом Поморье. А о том, что я знаю свой край, не хвастаю, и знаю точно его... жизнь... во всех ее многогранных особенностях. <...> У меня одна просьба к Вам, Александр Михайлович, если сумеете как помочь мне, так помогите. Видите, я до чего дошел... Мне стыдно и в то же время горько так клянчить!.. Но иного сейчас в данный период времени у меня выхода нет – сижу между двух стульев обескураженный. И больше не знаю, к кому и обращаться. И если это ничто последнее не поможет, махну на все рукой и продам свой труд куда-либо в „канцелярию“. А все, что у меня творческого, продам забвению»¹³.

На наш взгляд, мы должны выполнить свой долг перед светлой памятью Ивана Матвеевича Дурова, настоящего ученого, положившего свою жизнь на благо науки и горячо любимого им Беломорья.

¹ Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении // Научный архив КарНЦ РАН (далее – АКНЦ). Ф. 1. Оп. 32. Д. 181–188.

² Марковская Е. В. Каталог фольклорных коллекций Научного архива КарНЦ РАН. Русский фольклор (Ф. 1. Оп. 1). 2004. Рукопись.

³ Сопроводительное письмо И. М. Дурова к «Словарю» в Карельский научно-исследовательский институт // АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 189. Л. 2.

⁴ Там же. Ф. 1. Оп. 26. Д. 56. Л. 3.

⁵ Дуров И. М. Заявление председателю Областного бюро краеведения // Там же. Л. 1.

⁶ АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 189. Л. 1.

⁷ Дуров И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья / Под ред. Н. Виноградова. О. Соловки, 1929. 180 с.

⁸ Лойтер С. М. Краевед И. М. Дуров и его коллекция поморских детских игр // Живая старина. 2005. № 1.

⁹ Дуров И. М. Словарь живого поморского языка... // АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 181. Л. 4.

¹⁰ Там же. Л. 27.

¹¹ Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.

¹² Дуров И. М. Словарь живого поморского языка... // АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 181. Л. 38.

¹³ АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 189. Л. 30.

© П. Суутари
Йоэнсуу (Финляндия)

Перемены в национальной музыкальной культуре Карелии в 1930–50-е гг.*

В настоящее время я занимаюсь исследованием перемен в карельской национальной музыкальной культуре. Работаю в Институте Карелии при Университете Йоэнсуу. Цель работы – понять сегодняшнее состояние карельской культуры, исследуя недавнее ее прошлое. Этот вопрос для нас – финнов – важен потому, что карельская культура в последние сто лет развивалась у нас совсем иначе, чем в России, несмотря на общие отправные точки.

О финском подходе к изучению народной музыки

Считается, что осознание идеи народной музыки в Финляндии зародилось в XIX в. вместе с национальной идеей. Собрание народной музыки (в основном под руководством Общества финской литературы) было сильно идеологизировано, когда разыскивалась старая, красивая и подлинно финская (то есть свободная от иностранного влияния) музыка. Музыка, собранную таким образом, стремились использовать в национальных обществах, хорах и на песенных праздниках, там, где пропагандировались идеи национального идентитета и проводилась просветительская работа в народе (а также собирались средства на деятельность обществ). В XIX в. народ рассматривался, скорее, через призму романтических идеалов, то есть таким, каким его хотели видеть, а не таким, каковым он был на самом деле. На практике музыка в обществах представляла собой более новую народную песню, профессионально аранжированную в стиле романтизма, в которой применение калевальского размера, не говоря уже о плачах, было незначительным.

Современная музыка и танец в народном стиле, естественным образом развивавшиеся в течение этого времени, остались за пределами интересов собирателей и деятельности обществ, а к их исследованию приступили, по

* Перевод выполнен В. Давыдовым.

существо, лишь в 1970-е гг. после появления в Финляндии в Хельсинкском университете американского этномузыковедения. В это же время произошло возрождение интереса к исполнению народной музыки с привнесением новых оригинальных оттенков (folk revival) в манеру ее исполнения, в чем большую роль играли проводимые с 1968 г. фестивали народной музыки в Каустинене. Народная музыка стала для широкой публики объектом ностальгии. Изменения в процессе культурного участия и потребления заметны, скорее, в виде активного выбора и воздействия, чем пассивного массового движения, которым можно манипулировать извне.

На фестивалях в Каустинене поначалу серьезно заботились, чтобы исполняемая народная музыка была подлинной, однако с 1980-х гг. появление новой эклектичной, синтезированной из разных стилей музыки изменило ситуацию. Народная музыка стала сигнификативной категорией, например, поп-музыка: основная масса продолжала, как и прежде, танцевать и играть в самодеятельных ансамблях, а высокообразованное поколение народных музыкантов обратило свое внимание на старинную, уже пару поколений назад исчезнувшую музыку – калевальская руна вновь занимает свое место в программах многих современных ансамблей народной музыки (например, «Värttinä» – «Вярттиня»).

Все это привело к размыванию понятия подлинности народной музыки. Когда начали исполняться рунические песни или плачи, за основные критерии при оценке музыки стали принимать уровень профессиональной подготовки исполнителей и архивные материалы вместо подлинности. Для исполнителя не имело большого значения, была ли исполняемая им музыка получена от истинных хранителей деревенской традиции или же это была музыка собственного сочинения (под старину). Спектр музыкальных влияний был также очень широк, как и в мировой музыке.

Таким же образом, не позже 1980-х гг. в исследовательских кругах была поставлена под сомнение сама ценность идеи подлинности народной музыки, когда была опубликована, в частности, диссертация В. Куркела¹ о музыкальном фольклоризме и вообще стали более широко говорить об идеологических последствиях собирания народной музыки. С. Кнууттила² актуализировал данный вопрос, высказав парадоксальную мысль, что современные перформансы на темы «Калевалы» ничуть не более искусственны, чем те представления сотни лет назад, которых никто не слышал. Форма нашей жизни изменилась, но изменилась и традиция, существовавшая на условиях художественных, социальных и культурных представлений.

Об изменениях в народной музыке советской Карелии

На первый взгляд из Финляндии, изменение музыкальной культуры в Республике Карелия представляется естественным и даже неизбежным

процессом. Идеологические понятия народа и народной музыки регулировали эти изменения в обеих странах, и народное просвещение играло существенную роль при проведении этих изменений в жизнь и выработке ограничивающих рамок. Естественно, различия велики в опыте людей, живших в середине 1990-х гг.: в Финляндии организованная народная музыка относилась к национальным обществам, тогда как в Республике Карелия – к профессиональным коллективам, композиторам и домам культуры, клубам, кружкам. Самодетельно (для себя) люди, конечно, танцевали и пели, как и раньше, и в финской Карелии, и в Республике Карелия.

В Карелии переломный этап для народной музыки начался еще до революции. Однако лишь послереволюционная просветительская работа ускорила перемены в повседневной жизни жителей Карелии. Кампания по ликвидации безграмотности и последовавшие за ней еще большие перемены создали в самых маленьких деревнях структуры новой культурной работы. Модернизацию 1920–30-х гг. можно рассматривать как движение, в которое молодое поколение вливалось массово, поскольку это воспринималось как новый элемент жизни. В предлагаемых клубами вариантах – в занятиях в кружках, праздниках и танцах – люди принимали участие с удовольствием. В этом смысле с точки зрения культурных изменений более значительным процессом была модернизация (спонсорство), чем цензура (отрицание).

В Советском Союзе, как известно, во второй половине 1930-х гг. началась поддержка национальных культур, и наиболее важными их формами были хоровое пение и танцы. Первая Декада Карельской культуры в Ленинграде в 1937 г. стала хорошей демонстрацией нового бюрократического подхода по отношению к культуре. Там выступали недавно созданный симфонический оркестр республики и его первое (национальное) поколение композиторов, еще малочисленный оркестр «Кантеле», созданный Виктором Гудковым всего за год до этого события. Однако новейшее идейное направление в культурно-политическом смысле представляли участвующие в поездке карельские и русские рунопевцы, исполнители на народном инструменте кантеле, а также национальные хоры и танцевальные коллективы из Шелтозеро, Кондопоги, Петровского района и Центрального дома культуры Петрозаводска.

Особенность 1930-х гг. заключалась в том, что, когда собственную музыку народа начали внедрять через клубы и песенные праздники как советскую культуру, эта деятельность в последующие годы была очень пестрой и частично бесконтрольной. Например, в газетах часто жаловались, что представление карельских свадеб (во многих местах) является ошибочным выпячиванием идеалов прошлого³. Также крити-

ковалась упрощенная (под народную) манера выступления групп⁴. Но идея народной традиции как непрерывного процесса была революционной и новой, такой же, как в определении культуры в современном этномузыковедении и фольклористике. Были созданы известные народные хоры. Откуда им было черпать материал и манеру исполнения, кроме как у жителей своих регионов? Хорошим примером этого могут служить Иван Левкин и Василий Кононов, которые (каждый по-своему) начали развивать народную музыку в родных местах. После прослушивания записей И. Левкина в Научном центре убеждаешься, насколько хорошо он знал собственно карельскую манеру пения и, в сущности, узкий репертуар. В народных хорах манера пения, естественно, нивелировалась и со временем «обрусела». Перформативность и выход традиционной песни на эстраду, со своей стороны, уже сами по себе повлияли на перемены – костюмы, танцы, громкость и мелодичность песенного голоса, а принципы составления репертуара стали факторами, которые можно анализировать в качестве индикаторов перемен⁵.

Стиль выступлений народных хоров и оркестра «Кантеле» начал меняться после войны, когда в ансамбли были приглашены профессионально подготовленные дирижеры, у которых, однако, уже не было собственного знания местной культуры. В 1950-х гг. организовывались фольклорные экспедиции и велся поиск источников для творчества так же, как и в 1930-е гг., но выступления начали нивелироваться под советский стиль. Составленные в 1930-е гг. программы мозаичной культуры, символизирующей братство народов, центром которой была русская культура, парадоксальным образом начали воплощаться уже после смерти Сталина. Творческие коллективы – один другого грандиозней – и их программы символизировали величие Советского Союза и излучали оптимизм. Так, Ведлозерский хор достиг максимальной величины в 1960-х гг., а в периферийном Юшкозерском доме культуры исполнялись танцы многих народов. К сожалению, собственная традиционная культура карел при таком процессе развития осталась на задворках, особенно с учетом того, что карельский язык активно подавлялся в течение 30–40 лет⁶.

Идеалы, провозглашаемые для национальной культуры Советского Союза, не могли не повлиять на способы восприятия собственной музыкальной традиции и идентитета. Поскольку музыка не создавалась специально для карел (а являлась лишь символом дружбы народов и расцвета национальных культур), она и не выступала в качестве фактора, укрепляющего национальный идентитет. Это имело значение, в первую очередь, для молодых людей, немногие из которых

заинтересовались молодежным фольклорным движением. Многие женщины сетовали на то, как неправильно певцы ансамбля «Кантеле» артикулируют (произносят) слова на карельском языке (хотя это и репетировалось в хоре)⁷. Эта тема кажется не столь существенной, однако значение ее велико: неправильно исполненное ансамблем «Кантеле» музыкальное произведение не казалось своим («не наша музыка»). Однако в соответствии с научным понятием постмодернизма меньшинство должно само определять собственный идентитет. Провозглашаемое народной музыкой единение между народами сменилось унификацией. В этом смысле карельскость как направленность идентитета осталась в прошлом, в представлениях прошлых времен, хотя карельская музыка действительно много исполнялась на концертных подмостках.

¹ Kurkela V. Musiikkifolklorismi ja järjestökulttuuri Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisissa musiikki- ja nuorisjärjestöissä. Helsinki, 1989.

² Knuuttila S. Kalevalaisen musiikin paradokseja // Musiikin suunta. 1999. 3. S. 6.

³ Kolosenok S. Kansan luomistyö // Rintama. 1936. 5.

⁴ См. также: Lapasha R. Amateurs and enthusiasts: folk music and the Soviet state on stage in the 1930 s. // Soviet Music and Society Under Lenin and Stalin. London, 2004.

⁵ Olson L. Performing Russia. Folk Revival and Russian Identity. London, 2004. S. 119.

⁶ Надо, однако, упомянуть, что народная музыка советской Карелии развивалась на профессиональном уровне, то есть иначе, чем в Финляндии, где народная музыка осталась на самодеятельном уровне.

⁷ Karp S. M. Kantele. Petroskoi, 1971. S. 27.